

<https://doi.org/10.22455/978-5-9208-9782-3-410-471>

<https://elibrary.ru/WYXKG>

Научная статья /

Research Article

УДК 821.161.1.0



This is an open access article

Distributed under the Creative Commons

Attribution-NonCommercial 4.0

(CC BY-NC)

© 2024 г. С.В. Федотова

«ЗАГАДКИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО СФИНКСА»: ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ И МИХАИЛ БАХТИН В ИНТЕРПРЕТАЦИИ А.А. ГОГОТИШВИЛИ

*Исследование выполнено в ИМЛИ им. А.М. Горького РАН за счет гранта
Российского научного фонда № 24-18-00248, <https://rscf.ru/project/24-18-00248/>.*

Аннотация: В статье рассматривается лингвистическая интерпретация проблемы влияния символизма Вяч. Иванова на диалогическую концепцию Михаила Бахтина, впервые предпринятая Людмилой Гоготишвили. В первой части работы дается общая характеристика основных этапов творчества Гоготишвили, в контексте которого формировалась ее лингвофилософская концепция русского символизма (от Иванова — до Бахтина и Лосева). Предполагается, что замысел этой концепции связан с выявлением лингвистической специфики ивановского символизма и конкретных форм его воздействия на двух постсимволистов-антиподов — «диалогиста» Бахтина и «диалектика» Лосева (настоящая статья посвящена только первому из них). Во второй части раскрывается своеобразие третьего периода лингвофилософии Гоготишвили (конец 1990 — начало 2000 гг.), в рамках которого тема «Иванов — Бахтин» разрабатывалась с двух сторон (лингвистической и философской), в разных жанрах (проблемные статьи и преамбулы/комментарии в собрании сочинений Бахтина) и в два этапа (сначала анализ языковых механизмов мифа у Иванова и диалога у Бахтина, затем — философско-эстетических установок двух мыслителей). В третьей части детально анализируется лингвистическая (предикативная) трактовка символа и мифа, определяющая проблематику и содержание статей Гоготишвили об Иванове; прослеживается логика истолкования формулы мифа как синтетического суждения; показывается, что выводы о языковом механизме мифа, в котором антиномически скрещиваются семантические зоны субъекта и предиката, являются точной лингвистической транскрипцией базовых теоретических положений Иванова о символе и мифе. В четвертой части реконструируется сюжет «Иванов — Бахтин», разрабатываемый Гоготишвили в черновых набросках, в статье, посвященной предикативной интерпретации

двуголосого слова, монологизма и полифонии у Бахтина, а также в комментариях к его раннему философскому трактату «К философии поступка», сохранившемуся фрагментарно. На основе хронологии создания этих текстов гипотетически восстанавливается логика мысли Гоготшвили. В черновых «заготовках» она развивает параллель между предикативной концепцией символа и мифа у Иванова и предикативной интерпретацией двуголосого слова и диалога у Бахтина. В статье на первый план выходит лингвистическая интерпретация основных бахтинских концептов, без сопоставления с ивановским символизмом. В преамбуле и комментариях в собрании сочинений разворачивается доказательство фундаментального родства философско-эстетических идей Иванова и «нравственной философии» Бахтина; лингвистическая проблематика уходит в подтекст, тем не менее именно она определяет метод Гоготшвили: в основе реконструкции целостного бахтинского замысла лежит принцип антиномизма, доказанный в первой статье об Иванове. В Приложении публикуются фрагменты черновых записей, где наиболее полно представлена взаимосвязь лингвистических загадок символизма Иванова и диалогизма Бахтина, решенных Гоготшвили через предикативную интерпретацию ивановской формулы мифа и бахтинского двуголосого слова.

Ключевые слова: А. Гоготшвили, Вяч. Иванов, М. Бахтин, русский символизм, философия языка, миф, диалогизм, референт, предикат, лингвистическая интерпретация, рецепция, архивные материалы.

Информация об авторе: Светлана Владимировна Федотова — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1, 121069 г. Москва, Россия.

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9991-4966>

E-mail: lucia-th@yandex.ru

Для цитирования: Федотова С.В. «Загадки лингвистического Сфинкса»: Вячеслав Иванов и Михаил Бахтин в интерпретации Л.А. Гоготшвили // Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. Вып. 4 / ред.-сост. Е.А. Тахо-Годи, А.Б. Шишкин. М.: ИМЛИ РАН, Водолей, 2024. С. 410–471.

<https://doi.org/10.22455/978-5-9208-9782-3-410-471>

© 2024. *Svetlana V. Fedotova*

**“MYSTERIES OF THE LINGUISTIC SPHINX”:
VYACHESLAV IVANOV AND MIKHAIL BAKHTIN
IN THE INTERPRETATION OF LUDMILA A. GOGOTISHVILI**

Acknowledgements: The research was carried out at the expense of a grant from the Russian Science Foundation (RSF, Project no. 24-18-00248).

Abstract: The article examines the linguistic interpretation of the problem of the influence of Vyach. Ivanov symbolism on the dialogical concept of Mikhail Bakhtin, first undertaken by Lyudmila Gogotishvili. The first part of the work provides a general description of the main stages of Gogotishvili's work, in the context of which her linguo-philosophical concept of Russian symbolism was formed (from Ivanov to Bakhtin and Losev). It is assumed that the intention of this concept is connected with identifying the linguistic specificity of Ivanov's symbolism and the specific forms of its influence on two post-symbolist antipodes — the "dialogueist" Bakhtin and the "dialectician" Losev (this article is devoted only to the first of them). The second part reveals the originality of the third period of Gogotishvili's linguistic philosophy (late 1990 — early 2000), within which the theme "Ivanov — Bakhtin" was developed from two sides (linguistic and philosophical), in different genres (challenging articles and preambles/comments in the publication of collected works by Bakhtin) and in two stages (first, an analysis of the linguistic mechanisms of myth according to Ivanov and dialogue according to Bakhtin, then — of the philosophical and aesthetic attitudes of the two thinkers). The third part analyzes in detail the linguistic (predicative) interpretation of symbol and myth, which determines the problematics and content of Gogotishvili's articles about Ivanov; there is traced the logic of interpretation of the myth formula as a synthetic judgment; it is shown that the conclusions about the linguistic mechanism of myth, in which the semantic zones of the subject and predicate are antinomically crossed, are an accurate linguistic transcription of Ivanov's basic theoretical provisions about symbol and myth. The fourth part reconstructs the "Ivanov-Bakhtin" plot, developed by Gogotishvili in rough drafts, in an article devoted to the predicative interpretation of the two-voiced word, monologism and polyphony according to Bakhtin, as well as in comments to his early philosophical treatise "Toward a Philosophy of the Act", which has survived in fragments. Based on the chronology of the creation of these texts, the logic of Gogotishvili's thought is hypothetically restored. In the rough drafts, she develops a parallel between Ivanov's predicative concept of symbol and myth and Bakhtin's predicative interpretation of the two-voiced word and dialogue. The article brings to the fore the linguistic interpretation of the main Bakhtinian concepts, without comparison with Ivanov symbolism. In the preamble and comments to the collected works, unfolds a proof of the fundamental kinship between Ivanov's philosophical and aesthetic ideas and Bakhtin's moral philosophy; although the linguistic issues disappear into the subtext, nevertheless, it is precisely this that defines Gogotishvili's method: the reconstruction of Bakhtin's holistic plan is based on the principle of antinomianism, proven in the first article about Ivanov. The appendix contains fragments of draft notes, which most fully present the relationship between the linguistic mysteries of Ivanov's symbolism and Bakhtin's dialogism, solved by Gogotishvili through a predicative interpretation of Ivanov's formula of myth and Bakhtin's two-voiced word.

Keywords: L. Gogotishvili, Vyach. Ivanov, M. Bakhtin, Russian Symbolism, Philosophy of Language, Myth, Dialogism, referent, predicate, linguistic interpretation, reception, archival materials.

Information about the author: Svetlana V. Fedotova, DSc in Philology, Leading Research Fellow, A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya St., 25A, bld. 1, 121069 Moscow, Russia.

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9991-4966>

E-mail: lucia-th@yandex.ru

For citation: Fedotova, S.V. "Mysteries of the Linguistic Sphinx': Vyacheslav Ivanov and Mikhail Bakhtin in Ludmila A. Gogotishvili's Interpretation." *Viacheslav Ivanov. Issledovaniia i materialy* [Vyacheslav Ivanov. Research and materials]. Issue 4, comp. and ed. by E. Takho-Godi, A. Shishkin. Moscow, IWL RAS Publ., Vodoley Publ., 2024, pp. 410–471. (In Russ.)
<https://doi.org/10.22455/978-5-9208-9782-3-410-471>

Если в 2001 г. Роберт Бёрд констатировал, что в течение предшествующих пятнадцати лет наблюдался непрерывный поток статей о влиянии Вячеслава Иванова на Михаила Бахтина [24, с. 131], а в 2012 г. Константин Исупов назвал сюжет «Вяч. Иванов — Бахтин» весьма «популярным» [6, с. 97], то за последнее десятилетие ситуация изменилась. Нет больше ни потока публикаций, ни повышенного внимания к этой теме. После бурного периода дружного превознесения Бахтина маятник качнулся в другую сторону. Девятый вал бахтинистики схлынул, унося с собой не только «бахтинский масскульт» и «бахтинистскую "индустрию" в науке» [3, с. 515–516], но и серьезные, а то и прорывные работы в этой области. В иванововедении вопрос о параллелях между поэтом-теоретиком и философом диалога также приобрел устойчивые очертания. Выявлены основные моменты рецепции идей Иванова Бахтиным и его кругом (диалогизм, полифония, принцип «Ты еси» применительно к истолкованию Достоевского и др. [5; 7; 8; 11; 12; 14; 27]). Считается общепризнанным, что оба они принадлежат к традиции русской герменевтики, в рамках которой Бахтин оказался «переводчиком идей Вяч. Иванова на язык следующего поколения»: учение старшего, «сформулированное в традициях эзотерической метафизики», младший перевел «на язык секуляризированной культурологии, сохраняя тем не менее его религиозную основу» [15, с. 25]. Отметим, что эту точку зрения оспаривал Бёрд, который утверждал, что перевод был скорее искажающим, и отказывался рассматривать достоевсковедение Иванова как «не-совершенное предвосхищение бахтинской теории». По мнению Бёрда, предложенное Ивановым истолкование художественного мира писателя во всех отношениях превосходило соответствующие реконструкции Бахтина, выглядевшие на этом фоне весь-

ма уязвимыми в методологическом отношении [24, с. 142]. В новейшем издании немецкой книги Иванова «Достоевский. Трагедия — Миф — Мистика» имя Бахтина часто встречается и в комментариях к тексту, и в сопроводительной статье Андрея Шишкина «Вячеслав Иванов и открытие Достоевского в XX веке», где сочувственно цитируются работы С.Г. Бочарова, одного из верных «рыцарей» Бахтина первой волны [23, с. 266, 272–274]. Однако отдельных работ, посвященных нашей теме, в последнее десятилетие не появлялось.

В целом в исследованиях о Вяч. Иванове и Бахтине — как монографических, так и сопоставительных — преобладают философские и литературоведческие подходы. Гораздо в меньшей степени их творчество изучено в лингвистическом аспекте. В этом отношении случай Людмилы Гоготишвили (1954–2018) уникален. Она была первым исследователем, с лингвистической точки зрения обосновавшим влияние символизма Вяч. Иванова на Бахтина, который (наряду с А.Ф. Лосевым) трактуется в ее интерпретациях как постсимволист.

1

Своеобразие творческого пути Гоготишвили можно описать словами А.А. Тахо-Годи: «...есть бахтинисты, изучающие одно временно Лосева» [17, с. 464]. Бахтин — первая любовь Гоготишвили, которую она пронесла через всю жизнь, вопреки всем скандальным «разоблачениям» философа¹. Будучи студенткой, а за-

¹ Речь идет о баталиях по поводу авторства «девятнадцатых» текстов Бахтина («Фрейдизм: критический очерк» (1927), «Марксизм и философия языка» (1929), «Формальный метод в литературоведении» (1928) и др.): две первые вышли «под маской» В.Н. Волошинова, третья — П.Н. Медведева. Особенно жесткие обвинения были выдвинуты в книге Бронкара и Бота «Разоблаченный Бахтин: История одного лжеца, жульничества и коллективного помешательства» [25]. Опровержению инсинуаций в адрес Бахтина посвящен экскурс «Случай Бронкара & Бота (“Полифония — не бахтинская идея”)» в статье Гоготишвили «К ситуации вокруг полифонии» (впервые — 2013, опубликована в посмертной книге «Лестница Иакова: архитектура лингво-

тем аспиранткой филологического факультета МГУ, она защитила дипломную работу «Лингвистические воззрения М.М. Бахтина» (1980), потом кандидатскую диссертацию по общему языкознанию «Опыт построения теории употребления языка (на основе общепилологической концепции М.М. Бахтина)» (1984)². Тогда же она знакомится с А.Ф. Лосевым. По воспоминаниям А.А. Тахо-Годи, «Мила Гоготишвили, тайная почитательница Лосева, прислала без подписи (по скромности) свой автореферат в дом на Арбате, а потом была принята на должность секретаря Алексея Федоровича. Последнюю, итоговую работу по философии языка А.Ф. Лосев диктовал именно ей» [17, с. 421, 415].

«Почитательница» — да, но почему «тайная»? В диссертации Гоготишвили не только открыто цитировала поздние лингвистические работы Лосева, но и смело утверждала, что в рамках предлагаемой ею теории употребления языка (которая, по сути, была первым переводом металингвистических терминов Бахтина на язык современной лингвистики) между взглядами Лосева и Бахтина есть много точек соприкосновения. Спустя много лет она признается в том, что обсуждала с Лосевым вопрос о сходстве его оригинальной идеи о коммуникативном значении грамматических категорий и идеи Бахтина о коммуникативном значении двуголосого слова. Высказанная ею мысль Лосевым «как минимум, не отвергалась» [33, с. 224]. Однако это будет много позднее, в 2012 г. К этому моменту уже улягутся страсти 1980-х, расколовшие интеллектуальную элиту на два враждующих лагеря из-за выпада автора «Эстетики Возрождения» (1978) против автора «Творчества Франсуа Рабле и народной культуры средневековья и Ренессанса» (1965). Раблезианский смех, прослав-

философского пространства», составленной И.Н. Фридманом из работ позднего периода [32, с. 238–246]].

² Сохранился автореферат с инскриптом: «Папочка! Я очень горжусь, что наша с тобой фамилия *завучала* (в прямом смысле). Надеюсь (и на это есть основания), что эхо этого звучания будет долгим. Твоя дочь Мила». В предыстории этой записи — непрощенная обида отца на непокорную дочь, которая пошла против его воли: проучившись три года в Ташкентском университете, бросила его и уехала в Москву, где поступила на первый курс филфака МГУ.

ляемый Бахтиным, Лосев, как известно, назвал «сатанинским». Это потом начнутся поиски не только различного, но и общего между двумя выдающимися философами XX столетия, в равной мере оказавшимися наследниками религиозно-философской традиции «серебряного века». Но до этого сдвига «бахтинисты» и «лосевянцы» были по разные стороны баррикад [18]. На этом дискуссионно-конфронтационном фоне сугубый интерес Гогтишвили к философии языка таких, по общему мнению, радикально противоположных мыслителей выглядел своего рода вызовом. Никакого эпатажа с ее стороны, впрочем, не было. Был замысел, постепенно приобретающий все более отчетливые контуры. Суть его — выявить и описать «избирательное сродство» между «диалектиком» и «диалогистом» на уровне базовых установок их лингвофилософских учений.

Вяч. Иванов как-то сформулировал универсальный закон становления личности: «Поистине, я *semper idem*, хотя, конечно, в силу закона *páŋta rei* и самоутверждения моей жизненности, *káŋw réw*» [45, с. 492]. Людмила Гогтишвили так же всегда оставалась «той же самой» и в то же время изменялась. Главным образом это касается ее методологических подходов к философии языка Лосева и Бахтина (позднее появятся, конечно, и другие имена, но по отношению к двум своим героям-протагонистам она сохранит исключительную верность до конца своих дней). Можно сказать, что Гогтишвили подходила к своему постоянному предмету исследования на разных этапах с разных сторон, не отменяя более ранних выводов, а терминологически модифицируя их с новой точки зрения. В результате такого непрерывного поступательно-вращательного созерцания у Гогтишвили сложилась лингвофилософская концепция русского символизма, всю глубину которой нам еще предстоит осознать.

Поскольку изучение наследия Гогтишвили только начинается, представление об основных вехах ее творчества постоянно уточняется. Если раньше мы выделяли три основных периода [20; 22], то сейчас, пожалуй, можно говорить о пяти, с учетом самого раннего, связанного с кандидатской по теории языкознания, а также детализации позднего. «Перевод» идей Бахтина

о диалогичности слова на язык современной лингвистики, принятый в диссертации на начальном этапе научной карьеры, принципиально важен для понимания дальнейшего пути ее автора. Следующий этап, с конца 1980-х по середину 1990-х, — время выдвижения Гоготишвили в первые ряды исследователей двух самых оригинальных русских мыслителей XX в. Здесь ведущим становится общефилософский и аксиологический подход к философии имени Лосева и философии языка Бахтина. Гоготишвили параллельно участвует в проектах по изданию сочинений обоих философов (в это время выходят только лосевские тома), публикует концептуальные статьи, посвященные и тому и другому. Помимо этого, выступает инициатором, составителем и ответственным соредактором дискуссионных сборников «М.М. Бахтин как философ» (1992) [43] и «Абсолютный миф Алексея Лосева» (1994) [28], получивших широкий резонанс. На третьем этапе, после 1995 и до 2002 гг., разрабатывается лингвистическая (предикативная) трактовка символизма Вяч. Иванова, имяславия Лосева, С.Н. Булгакова и П.А. Флоренского, а также диалогизма Бахтина. Показательно, что новый поворот ознаменован еще одним задуманным и осуществленным Гоготишвили сборником — «Вячеслав Иванов. Архивные материалы и исследования» (1999), куда вошла ее первая статья о поэте-символисте. Все три издания имеют знаковый характер, манифестируя основные темы Гоготишвили. На четвертом этапе происходит плавный сдвиг — с языка лингвистического анализа на язык феноменологического описания, отразившийся в структуре единственной прижизненной книги исследовательницы «Непрямое говорение» (2006). Помимо «предикативных» статей об Иванове и Бахтине, magnum opus Гоготишвили включает работу об «эйдетическом языке» Лосева и трактат «К феноменологии непрямого говорения», теоретически обобщающий все «именные» разделы монографии в феноменологическом ракурсе³. Последний этап свя-

³ Постепенное изменение ракурса исследования отражается в первоначальных вариантах названия книги: «Философия языка русских символистов», «Философия языка русского символизма», «Символическая философия языка», «Русский символизм (лингвофилософский аспект)», «Философские про-

зан с «дискурсивным поворотом»: на авансцену выходят и остаются уже до конца дискурсивные стратегии (типы порождения речи) философов-символистов. На этом фоне намечается новый виток — в сторону осмысления символизма через оппозицию «двоичного»/«троичного» символа⁴. Однако в полной мере осуществить этот замысел Гоготишвили не успела. В целом же свой поздний исследовательский метод (после «Непрямого говорения») она сближала, по-видимому, с когнитивистикой, считая, что когнитивное направление больше всего соответствует ее установке на «согласительный синтез» между аналитической лингвистикой и феноменологией сознания.

Схематично очерченный контекст творчества дает представление о динамическом единстве и системности мысли Гоготишвили. Корпус ее работ в высшей степени архитектурен: статьи надстраиваются друг над другом, как этажи, или же ответвляются друг от друга, оставаясь органически взаимосвязанными в пространстве мысли. В фундаменте этого стройного и прочного здания, несомненно, лежит металингвистика Бахтина, но сконструировано оно скорее в стиле Лосева. Оба философа открыто признавали авторитет — и приоритет — Иванова, называли его *учителем*, в силу чего вопрос о специфике ивановского символизма и конкретных формах его воздействия на философию языка двух неформальных *учеников* мэтра относился для Гоготишвили к разряду первостепенных. Основная проблема заключалась для нее, по-видимому, в том, что если Лосев явно продолжал линию символизма, то по отношению к Бахтину эта преемственность по меньшей мере неочевидна. Гоготишвили подошла к этому вопросу не сразу, только после основатель-

екции символизма (Вяч. Иванов. А. Лосев. М. Бахтин)», «Лингвофилософские проекции символизма (Вяч. Иванов. А. Лосев. М. Бахтин)», «Интенциональные и языковые акты сознания», «Символизм и феноменология языка». Подробнее о тесной взаимосвязи четвертого и пятого периодов см. в нашей статье «“Феноменология говорения” Людмилы Гоготишвили: к истории неизданной книги (по материалам личного архива)»: [20].

⁴ См. статью Гоготишвили «Вклад постсимволистов Лосева и Бахтина в теорию построения дискурса (принципиальные различия на фоне фундаментального сходства)» (2014): [32, с. 431–450].

ного изучения сочинений поэта⁵. Многомудрый Вячеслав Великолепный долгое время оставался для нее, как и для многих, загадочной фигурой.

2

К разгадке ивановского феномена Гоготишвили приступила на третьем этапе своего творческого пути. Если раньше имя поэта-символиста встречалось редко и только в «лосевских» статьях, а в «бахтинских» не упоминалось вовсе, то теперь Иванов предстает *отцом-основателем* отечественной философии языка, основоположником и вдохновителем традиции, в рамках которой сосуществовали различные версии лингвофилософии — как близкие по времени (Булгаков, Флоренский), так и более поздние (Лосев, Бахтин). В рамках лингвистического подхода конструируется символистская парадигма, раскрывающая генетическое родство между теорией символа и мифа у Вяч. Иванова, философией имени Лосева и диалогизмом Бахтина. Эту парадигму можно назвать *русским символизмом по Гоготишвили*.

Воплощение этого замысла последовательно разворачивается в цикле работ, тесно связанных между собой лингвистической (предикативной) концепцией символа, мифа и диалога: «Лингвистический аспект трех версий имяславия (Лосев, Булгаков, Флоренский)» (1997) [34], «Между именем и предикатом (символизм Вяч. Иванова на фоне имяславия)» (1999), «Лосевская концепция предикативности» (1999) [35], «Двуголосие в соотношении с монологизмом и полифонией» (2004), «Антиномический принцип в поэзии Вяч. Иванова» (2004) и наконец «Рецепция символизма в гуманитарных науках (лингвофилософский аспект)» (2004). Даты публикации, однако, не вполне отражают реальную хронологию и логику развития мысли автора. Если привлечь ар-

⁵ В личной библиотеке Гоготишвили имеется тщательно проштудированное брюссельское собрание сочинений Иванова, к которому она обращалась, судя по всему, с конца 1980-х.

хивные материалы (так называемые *заготовки* статей, их редакции и варианты), получится иная картина; к ней мы вернемся несколько позже⁶.

Добавим, что в это же время Гоготишвили продолжает заниматься подготовкой текстов для собрания сочинений Бахтина. Хорошо известны ее преамбулы и комментарии ко многим сложнейшим бахтинским работам позднего периода («К философским основам гуманитарных наук», «Проблема речевых жанров», «Язык в художественной литературе», «Проблема текста», «Рабочие записи 60-х — начала 70-х годов» и др.), опубликованным в пятом (1996) и шестом (2002) томах⁷. Для нашей темы особенно важен первый том, посвященный ранним философским трудам Бахтина 1920-х гг., по иронии судьбы вышедший в свет позже всех остальных, в 2003 г. Гоготишвили подготовила теоретическую преамбулу и значительную часть реального комментария⁸ к плохо сохранившемуся трактату с редакторским заголовком «К философии поступка».

Смысловым стержнем преамбулы является фундаментальное родство «нравственной философии» раннего Бахтина и философско-эстетических взглядов Вяч. Иванова. Этот, более привычный, ракурс сопоставления двух мыслителей, тем не менее, напрямую связан с предшествующими статьями цикла⁹. В силу философского характера анализируемого текста предика-

⁶ Следуя заявленной теме, мы остановимся только на одной линии, вынужденно оставляя в стороне довольно запутанный сюжет «Иванов и Лосев», к которому нам уже приходилось обращаться [21], но он безусловно требует дальнейшего изучения, особенно в свете новонайденных архивных материалов.

⁷ Н. Автономова по поводу этих двух томов очень точно заметила: «...нам как воздух не хватает таких собеседников-специалистов, как Алпатов, Гоготишвили, <...>. Читать их комментарии параллельно с текстами, в том числе архивными, — одно удовольствие» [1, с. 171].

⁸ Вторую часть, меньшую по объему, подготовил С.С. Аверинцев. Интересно, что два комментаторских блока не сливаются в один общий, как это принято в других совместных работах, а представлены в томе по отдельности, с сохранением авторства комментаторов.

⁹ В Преамбуле есть ссылка на статьи «Между именем и предикатом...» и «Антиномический принцип...», которая еще в печати [29, т. 1, с. 407, 383].

тивная интерпретация лингвистических новаций Иванова и Бахтина уходит на задний план, но тем не менее именно она определяет логику реконструкции бахтинской рукописи с опорой на принцип антиномизма, теоретически «выведенный» в первой «ивановской» статье. Во второй же — на большом текстуальном материале — антиномизм представлен как лингвистический императив Иванова, его «магистральная языковая стратегия», «концептуальная и при этом радикальная инновация», которую подхватил и по-своему развил Бахтин в теории двуголосого слова [36, с. 104, 137].

В рамках предикативного периода тема «Иванов — Бахтин» разрабатывалась, таким образом, с двух сторон (лингвистической и философской), в разных жанрах (проблемные статьи и преамбулы/комментарии в собрании сочинений) и в два этапа (сначала анализ языковых механизмов, затем — философско-эстетических установок). Для лингвофилософии Гоготишвили такой путь абсолютно органичен. Не случайно в самом начале статьи о двуголосии она заявляет, что лингвистическая конкретность — это «практически единственные ворота в многозначный философский пласт бахтинской концепции. Точнее, даже не ворота, а охраняющий их Сфинкс со своими загадками» [36, с. 140]. В символизме Вяч. Иванова и диалогизме Бахтина Гоготишвили усмотрела соприродные лингвистические загадки, отмыкающие «ворота смысла». Слово «загадка» встречается в «Между именем и предикатом...» более 10 раз, еще чаще — в статье о двуголосии Бахтина, к тому же открывается она параграфом «Загадки лингвистического Сфинкса».

3

В теоретических работах лидера символизма такой загадкой для Людмилы Гоготишвили стала формула мифа как синтетического суждения, где символу-субъекту придан глагольный предикат. Вячеслав Иванов неоднократно воспроизводил ее, с отдельными уточнениями, начиная с 1910-х гг. и вплоть до немецкой

книги о Достоевском (1932). На фоне многосмысленного, нарочито неаналитического языка Иванова, эта формула выделяется своей сугубо логической и, что еще удивительнее, кантовской терминологией. Регулярность ее появления в текуче-протеистичной ткани ивановского «плетения словес» указывает на то, что мы имеем дело с неизменным ядром его мысли. В современных исследованиях о творчестве Иванова эта формула фигурирует довольно часто. Но, за редкими исключениями¹⁰, обычно она берется как неразложимое целое, прокомментированное самим поэтом в «Дионисе и прадионисийстве» (1923):

Прамирф высказывает — и исчерпывает — древнейшее узрение в форме синтетического суждения, где подлежащим служит имя божества или анимистически оживленной и воспринимаемой как *δαίμων* конкретности чувственного мира, сказуемым же глагол, изображающий действие или состояние, этому демоническому существу приписанное [39, с. 364–365].

На этом высказывании базируются выводы о мифопоэтических стратегиях поэта. Утверждается, например, что Иванов «поставил проблему понимания *мифического* как феномена *религиозного сознания*»; ратовал «за возврат к *архетипическому*», к «*прамифу*», к «обрядовому истолкованию его смысла и функции»; наконец, что для понимания прамифа необходимо «владесть ключами символики, для чего потребуются культовая герменевтика мифа». Только последняя позволит «постичь изначальные структуры религиозных представлений, которые могут быть продуктивны для “новой мифологии” XX века и должны стать основой философии искусства и житнетворчества» [19, с. 110].

Подход Гоготышвили иной. Ее интересует не символика и не герменевтика мифа, т. е. не более поздние и сложные культурные

¹⁰ Отметим, что Ф. Вестбрук бегло затрагивает вопрос о своеобразии формулы мифа, но ограничивается замечанием, что «терминология Канта свидетельствует о своеобразном смешении философских и филологических понятий в работах Иванова» [4, с. 38]. Гораздо более проблемно — в методологическом отношении — рассматривается неоднозначное соотношение этой формулы с «основным мифом» Достоевского в статье М. Плехановой [13, с. 282–301].

напластования, а структура и смысл самой формулы, предложенной Ивановым. Варианты этой формулы исследуются детально, почти на молекулярном уровне, с выявлением мельчайших смысловых различий между ними. Самый ранний из них содержится в «Заветах символизма» (1910), где миф «понимается как синтетическое суждение, где подлежащее — понятие-символ, а сказуемое — глагол: ибо миф есть динамический вид (модус) символа, — символ, созерцаемый как движение и двигатель, как действие и действенная сила» [40, т. II, с. 594–595]. В этой дефиниции Гоготишвили фиксирует противоречие между постулируемой синтетичностью суждения и его отчетливо аналитическим оттенком: созерцаемый символ отождествлен с понятием, т. е. имеет логический характер, предикат — тот же символ-субъект в его глагольной форме, значит он как бы аналитически выводится из субъекта, а не приращивается к нему синтетически. Онтологическая природа «предмета», из созерцания которого рождается миф, выглядит вполне рациональной [36, с. 31].

Вторая, уточненная, формулировка появилась в экскурсе «Основной миф в романе “Бесы”» (1911):

Миф определяем мы как синтетическое суждение, где подлежащему символу придан глагольный предикат. <...> Если символ обогащен глагольным сказуемым, он получил жизнь и движение: символизм превращается в мифотворчество. Истинный реалистический символизм, основанный на интуиции высших реальностей, обретает этот принцип жизни и движения (глагол символа или символ-глагол) в самой интуиции, как постижение динамического начала умопостигаемой сущности, как созерцание ее актуальной формы, или, что то же, как созерцание ее мировой действенности и ее мирового действия [40, т. IV, с. 437–438].

Обновленный вариант, согласно Гоготишвили, играет на руку синтетическому типу суждения. Во-первых, снимается аналитическое «понятие-символ»; во-вторых, появляется указание на то, что символ не «самолично является “предметом” созерцания», поскольку Иванов вводит определение глагола как симво-

ла. Гоготишвили трактует этот нюанс в том смысле, что если и символ-субъект, и глагольный предикат («символ-глагол») «раздельно “обретаются” в интуиции умопостигаемой сущности», то это значит, что и логически, и с позиции языковой семантики они разводятся Ивановым. Благодаря этому аналитическому разведению, они могут быть синтетически соединены в мифологическом суждении; природа самой умопостигаемой сущности мыслится в этой формулировке «и не символической, и не языковой».

Из интерпретации ивановского определения Гоготишвили делает далеко идущие выводы. Если символ-субъект и символ-предикат «продолжают “истекать” из некоего единого лона, из некоего созерцаемого “предмета”, “берущегося” (понимаемого) то как субъект суждения, то как глагольный предикат», получается, что в ивановском мифологическом суждении *«субъект и предикат находятся в равных отношениях с символизируемым “предметом”*» [36, с. 32]. Скрупулезный логический анализ формулы мифа приводит к парадоксальному результату. Согласно традиционному представлению, субъект (подлежащее) называет, идентифицирует «вещь» внеязыковой действительности (т. е. это ивановское *что*), а предикат (сказуемое) описывает ее или нечто утверждает о ней (т. е. это *как*). У Иванова же, по Гоготишвили, оба главных члена предложения оказываются однородными по отношению к подразумеваемому «предмету» речи (референту или денотату), они оба референцируют, но при этом сохраняют грамматическую форму субъекта и глагольного предиката в составе мифологического суждения. В силу этого словесная формула мифа у Иванова понимается Гоготишвили как «заявка» на оспаривание философской и лингвистической аксиомы об онтологическом и гносеологическом разведении субъекта и предиката суждения по их функциям. В лингвистическом парадоксе, выявленном в определении мифа, и кроется загадка символизма Иванова, а поиски ее решения направляют сюжет статьи «Между именем и предикатом...».

Первым делом Гоготишвили приступает к сложному вопросу о природе ивановского символа, которым одновременно оказываются и субъект, и предикат словесного мифа. В работах Ивано-

ва дефиниции символа не отличаются стабильностью, они текучи и противоречивы. Хотя по этому вопросу существует огромная литература, до сих пор нет определенной ясности, «как в конце концов следует определить символ у Вяч. Иванова», в свое время отметил Роберт Бёрд¹¹. Людмила Гоготишвили полагает, что лингвистическую специфику ивановского символа можно уловить только в устойчивой формуле прамифа — к ней стягиваются все основные идеи поэта-теоретика.

При этом Гоготишвили выдвигает тезис, озадачивающий читателя. Символ у Иванова имеет «неименной» характер, утверждает она: «неименное» понимание символа — константа ивановской мысли, основанная на «фундаментальном противопоставлении: *имя объективирует свой референт (или денотат), ивановский символ — принципиально нет*» [36, с. 22]. Это означает, что символ не называет предмет прямо, не идентифицирует свой референт, не объективирует его и не создает его конкретного (чувственно воспринимаемого) образа. Такая трактовка на первый взгляд вполне соответствует известному упреку символистам в том, что они развоплотили мир, *деморализовали* восприятие реальных вещей. В символизме, как говорил Мандельштам, нет «ничего настоящего, подлинного. Страшный контреданс “соответствий”, кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой» [44, т. II, с. 77]. Если перевести это хрестоматийное высказывание на язык лингвистики, получится, что символ оказывается именем другого денотата, т. е. метафорой в традиционном понимании. Гоготишвили же утверждает, что языковой механизм подобного *развоплощения* у Иванова сложнее. В «чужом» имени, присваиваемом символическому референту, также погашается его собственно именная функция, но при этом активизируются его предикаты (признаки, значения). Символ по-

¹¹ Бёрд при этом указывает только два «особенно» важных источника: статью Гоготишвили «Между именем и предикатом...» и свою монографию об Иванове “The Russian Prospero” (2006) [2, с. 34].

нимается Гоготишвили как «совокупность плавающих, снятых с объективированных “гнезд” предикатов». В мифологическом суждении он «полагается» в грамматической форме имени (субстантива), т. е. объективируется только средствами языка, тем самым (псевдо)объективируя предикаты и снимая конкретный, семантически-буквальный или чувственный образ «чужого» предмета. По «свернутому языковому механизму ивановский символ — это *безобразная объективация предиката*» и даже «пучка предикатов»¹², заключает Гоготишвили [36, с. 46].

Признаем, это определение звучит *иноприродно* для литературоведческого слуха; оно настолько чуждо, что до сих пор не может уместиться в русло общей философско-филологической трактовки ивановского символизма. Но, вообще говоря, одиозный «пучок предикатов» не более чем «технический» термин, лингвистически транскрибирующий известное положение Иванова из программной статьи «Поэт и Чернь» (1904): символ *многолик, многосмыслен и темен в своей глубине* [42, с. 38]. В духе Гоготишвили его можно истолковать следующим образом: референт символа, *темного в своей глубине*, никогда не называется прямо, не имеет имени. Это — некий трансцендентный Х, приоткрываемый сознанию (или выражаемый) через свои свойства, признаки, аспекты, в логике и лингвистике они суть не что иное, как его предикаты (то, что *утверждается об* этом неизменном Х, а не то, что есть он *сам по себе*). Отсюда у Иванова и «многоликость», и «многосмысленность» символа¹³. Ср. аналогичное утверждение Мандельштама в «Разговоре о Данте»: слово — это *пучок смыслов, которые торчат из него в разные стороны* [44, т. II, с. 166]. Гоготишвили его не приводит, но с большой

¹² Предикативную концепцию символа Иванова Гоготишвили проецирует на высказывание Ю. Степанова о том, что «в предикате язык “отражает” отношения “вещей” между собой и сами “вещи” как пучки отношений, но при этом предикат не именуется эти отношения». Сопоставляется такой предикативный символ и с «беспредметными» символами у М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского [36, с. 50].

¹³ См. интереснейшую статью Р. Бёрда «Символ и аспект у Вяч. Иванова», где полушуточное стихотворение Иванова «Аспекты» (1903) рассматривается с точки зрения средневековой схоластики [4, с. 12–24].

долей вероятности можно предположить, что *торчащие смыслы* она бы соотнесла с предикативным символом у Иванова¹⁴. Не прошла бы она, как представляется, и мимо утверждения Мандельштама о том, что «всякий период стихотворной речи — будь то строка, строфа или цельная композиция лирическая — необходимо рассматривать как единое слово». Гоготишвили заострила бы тут вопрос о семантической фигурности поэзии, о синтаксической организации поэтического высказывания. Мандельштам мыслил метафорически: с его точки зрения, произнося любое слово, например, «солнце», «мы совершаем как бы огромное путешествие», «говорить — значит всегда находиться в дороге» [44, т. II, с. 166]. «Слово», равное поэтическому периоду или всему стихотворению, если следовать за излагаемой лингвистической трактовкой, референцирует подразумеваемый предмет речи своим целостным составом. Наше предположение не беспочвенно основано на гипотезе Гоготишвили, согласно которой языковой миф Иванова осуществляет символическую референцию не изолированным символом, а лишь синтаксическим единством субъекта и предиката, которые, по Иванову, являются символами, а по Гоготишвили — предикатами. Они не именуют, не объективируют и не создают «образа» своего референта, «ознаменовать» его может только миф как синтетическое суждение, отличаясь по своему языковому механизму и от имени, и от метафоры¹⁵.

¹⁴ Сопоставление лингвистических идей Иванова и Мандельштама, вероятно, входило в планы Гоготишвили. По крайней мере, в ее архиве сохранился большой набросок статьи «Аналитические орнаменты символизма и символические узоры аналитизма», эпиграфом к которой стоят слова Мандельштама из «Разговора о Данте»: «Орнамент строфичен. / Узор строчковат» (подробнее см.: [20, с. 289–292]).

¹⁵ Вывод Гоготишвили оспаривает устойчивые представления о влиянии А. Потебни на символизм Иванова. Анализируя высказывания Иванова в статье «О новейших теоретических исканиях в области художественного слова» (1922) о том, что в доктрину Потебни необходимо внести «полезные коррективы, клонящиеся к освобождению ее от рационалистических примесей», что «объяснительное назначение образа в поэзии», восходящее к Потебне, «не без оснований подвергается сомнению» [40, т. IV, с. 646], она добавляет: «Изолированный образ разделяет в ивановской концепции судьбу изолированного символа: самолично они не могут ни референцировать, ни предиктировать. На это

Для прояснения онтологической природы символического референта Гогетишвили привлекает третью формулировку мифа, из «Диониса и прадионисийства», приведенную выше. Она обсуждается в контексте сопоставления концепций символа и мифа у Иванова и имяславца Булгакова, которые, как показала Гогетишвили, формировались и уточнялись во многом с оглядкой друг на друга. Булгаков, признавая, что миф есть «событие, которое совершается на грани двух миров, в нем соприкоснувшихся (Вяч. Иванов)», не соглашался с постановкой символа в позицию субъекта мифологического высказывания. Содержание событийного мифа, утверждал философ, «всегда конкретно, речь идет в нем не о божестве вообще и человеке вообще, но об определенной форме или случае определенного богоявления». В силу этого «подлежащее мифа, его субъект может быть обозначен только “собственным”, а не “нарицательным” именем» [36, с. 37]. Для Иванова же, доказывает Гогетишвили, в позиции субъекта мифа мог выступать только «неименной» символ. Она рассматривает и исключение из этого правила, не вполне точно считая, что Иванов впервые вводит «имя божества» на место субъекта в формуле 1923 г.¹⁶ Это нововведение понимается как

способны только символические или — как аналог — образные фигуры речи в их целом, т. е. высказывания, содержащие скрещивающий различные семантические лучи и тем порождающий референцирующее значение предикативный акт» [36, с. 84].

¹⁶ Отметим, что Гогетишвили цитирует приведенное выше высказывание Иванова по изданию «Диониса и прадионисийства» (1994). Однако на самом деле подобная формулировка появилась раньше — в «Эллинской религии страдающего бога», причем не в первой, журнальной, публикации 1904–1905 гг., а в переработанном варианте текста, подготовленном к печати в издательстве Сабашниковых в 1917 г., но так и не увидевшем свет. Ср.: «Древнейшее мифообретение есть, по-видимому, соединение с именем глагольного сказуемого в *praesens*, т. е. приписание вещи или явлению, воспринятому как лицо, собственного ему постоянного действия. “Душа обитает в теле”; “душа вылетает из ноздрей”; “солнце борется и умирает” — в форме таких (синтетических) суждений должно представлять себе первобытный миф» [41, с. 161]. Мы цитируем по полному изданию «Эллинской религии...» (2015), воспроизводящему упомянутый корректурный набор. Гогетишвили же, само собой, опиралась на его первую публикацию в «Литературных памятниках» в томе «Эсхил» в пере-

формальная уступка Булгакову, не затронувшая корней ивановской мысли. В контексте исследования Иванова все «иноименные Дионисы» оказываются не чем иным, как символами «вызываемых неведомых духов». Само имя Дионис является именем в этимологическо-аналитическом смысле («сын Зевса»), т. е. представляет собой предикативное определение, легко сворачиваемое в одно слово, по сути в архетипический символ¹⁷. В составе же мифологического суждения, референцирующего некое событие, это имя-понятие теряет «свое аналитически-содержательное, рационально воспринимаемое и тем более конкретно-чувственное или образное значение» и превращается в чистое КАК, без всяких ЧТО или КТО, трансформируясь в *символ определенного религиозного состояния* [36, с. 39]. Гоготишвили апеллирует к настойчиво проводимой Ивановым идее о том, что «существо религиозной идеи Диониса не сводимо ни на какое определенное *что*, но изначально было и навсегда осталось определенным *как*. Стихия Диониса есть только состояние» [41, с. 63]. Реконструкция спора Иванова и Булгакова о субъекте мифологического суждения позволяет Гоготишвили связать концепт *состояния сознания*, дионисийское КАК, с референтом мифологического суждения. Собственно, основная гипотеза Гоготишвили и заклю-

воде Иванова (1989), где он напечатан в сокращении, в частности, полностью отсутствуют VII и VIII главы (определение мифа дается в последней из них). Этот факт, не учтенный Гоготишвили по объективным причинам, тем не менее подтверждает верность гипотезы о том, что формулировка мифа оттачивалась Ивановым в полемике с Булгаковым в 1910-е гг.

¹⁷ Трактовка Гоготишвили полностью соответствует точке зрения Иванова, которая намного прозрачнее выражена в «Эллинской религии...». Там утверждается, что «“многоименный” бог не имеет своего имени»; что Дионис заимствует имя у отца, Дия: «Дифференцированное из Зевсова имени имя Диониса обличает дифференциацию самого понятия из понятия Зевса»; что Дионис — «абстракт оргиастической жертвы» [41, с. 161, 112–113]. В «Дионисе и прадиионисийстве» более осторожно говорится лишь о «темноте этимологии» имени Диониса, которое «во всяком случае знаменует некоторое отношение к Зевсу и Дионисово божество выводит из божества Зевсова», но на полях книги сделана поздняя приписка со ссылкой на источники, обсуждающие этимологию имени Диониса [39, с. 116]. «Знаменует», по Иванову, это и значит символизирует/предикцирует, а не прямо называет.

чается в том, что формула языкового мифа Иванова предполагает особую (предикативную) референцию к *состоянию сознания*, а не к *сущности вещей*, как обычно считается, выдвигая на первый план не символ сам по себе, а символическое высказывание, с его неотменяемым субъект-предикативным составом.

Лингвистическую интерпретацию Гоготишвили нельзя не признать глубоко оригинальной. Вместе с тем, она удивительно созвучна многим положениям теоретика символизма. Меняя оптику восприятия Иванова, описывая не «ключи символики», а сам языковой акт символизации, Гоготишвили смещает фокус внимания с семантики на синтаксис, с ЧТО на КАК, с имени на предикат. Исключительный интерес в рассматриваемой статье представляет процедура косвенной проверки речевых единиц высказывания на референтность, предложенная Дж. Р. Сёрлем. Согласно американскому философу, все, что обладает реферирующей силой, может быть преобразовано в экзистенциальное суждение («человек сидит» — «человек существует» — «сидящий человек существует»). У Иванова, утверждает Гоготишвили, такую проверку не пройдет ни один компонент фразы, взятый изолированно, поскольку при переводе формулы мифа в простое экзистенциальное суждение исказится исходный символический референт. В качестве одного из показательных примеров Гоготишвили проводит подобную трансформацию с заключительным стихом «Божественной комедии» — «Любовь движет Солнце и другие Звезды». Полученные в результате экзистенциальные утверждения («Любовь существует», «Движение солнца и других звезд существует»), действительно, оказываются явно «не о том». По Гоготишвили, это означает, что Иванов мыслил особый тип символической референции, осуществляемый только целостным языковым составом мифологического суждения. Такую синтаксическую структуру Гоготишвили называет «символической фигурой речи» (или «мифоидом»), механизм которой и состоит в *акте семантического скрещения* субъекта и предиката [36, с. 51–52]. Особенно интригует, что постулируемое скрещение субъекта и предиката понимается как «*одновременный двойной взгляд на одно*» [36, с. 57]. Дойдя до этого ме-

ста, даже самый скептически настроенный читатель приподнимет бровь. Ведь очевидно, что перед нами аллюзия на тютчевское «двойное зрение», а Иванов, как хорошо известно, видел в нем «последовательно применяемый метод» символизма [40, т. II, с. 590]. Выходит, что все предшествующие рассуждения Гоготишвили, далеко не всегда понятные сразу, приводят к общепризнанному положению о глубинной связи символизма Иванова и поэтики Тютчева. Однако Гоготишвили, в очередной раз нарушая ожидания, подступает к выводу о «двойном взгляде» с другой стороны.

В фокусе ее внимания — все тот же пример «истинного мифа», развернуто прокомментированный Ивановым в «Мыслях о символизме» (1911). Напомним, «истинный миф» дается здесь в виде наставления некоего *иерофанта*, который изъясняет воспринимавшему сознанию мудрость Дантова стиха, наставляет, как говорит Иванов, *душу созерцателя (эпопта) мистерий*, созерцающую *всезвездный небосвод* в музыкально-зрительных (дионисийско-аполлонийских) напевах. Момент *научения* описывается как дионисийское потрясение, мистический экстаз, трансцензус¹⁸, открывающий душе священный глагол (ἱερός λόγος): «*Ты видишь движение сияющего свода, ты слышишь его гармонию: знай же, оно — Любовь. Любовь движет Солнце и другие Звезды*» [40, т. II, с. 607]. Объясняя, почему «изученный стих» является символическим и мифотворческим (теургическим), автор эссе вновь воспроизводит свою формулу мифа:

Слагаясь кроме того, из элементов символических, поскольку отдельные слова его произнесены столь могущественно в данной связи и данных сочетаниях, что являются символами сами по себе, он представляет собою синтетическое суждение, в котором к подлежащему символу (Любовь) найден мифотворческой интуицией поэта действенный глагол (движет Солнце и Звезды). Итак, перед нами мифотворческое увенчание символизма. Ибо миф есть синтетическое суждение, где сказуемое-

¹⁸ О различиях в понимании мистического экстаза Вяч. Ивановым и Данте см. интересную работу Кристины Ланды с общей библиографией по теме: [9].

глагол присоединено к подлежащему-символу. Священный глагол, ἱερὸς λόγος, обращается в слово как μῦθος [40, т. II, с. 608].

В трактовке Иванова просвечивает герменевтическая модель *восхождения/нисхождения* художника, совмещающая две формулы истинного символизма: *от реального к реальнейшему* (“a realibus ad realiora”) и *от реальнейшего к реальному* (“a realioribus ad realia”), как напишет он в «Границах искусства» (1914). В то же время в этой статье впервые формулируется принцип *полифонности* символизма¹⁹, получивший дальнейшее развитие у Бахтина. Не случайно именно с «Мыслями о символизме» Д.М. Магомедова соотносит «диалогическую модель символа», которая «учитывает читательское участие в завершении смысла символистского текста» [10, с. 156]. Узнаваемо бахтинская терминология в применении к ивановскому символу, задействованная в приведенном высказывании, сближает не только Иванова и Бахтина, но и понятия полифонии и диалога. К такому прочтению подталкивает сам поэт, когда утверждает, что символизм воздействует на слушателя тем, что 1) пробуждает в его душе «изначальное воспоминание», расширяющее его эмпирически-ограниченное (само)сознание; 2) вызывает «чувство связи между тем, что есть его “я”, и тем, что зовет он “не-я”, — связи вещей, эмпирически разделенных»; 3) непрямо, как эхо (*слова поэта не равны себе*), свидетельствует о *собственном душевном переживании и внутреннем опыте*, вызывая ответное эхо в *лабиринтах души*. «Ибо символизм означает отношение, и само по себе произведение символическое, как отделенный от субъекта объект, существовать не может» [40, т. II, с. 608–609].

Нет никаких сомнений, что Гоготишвили заметила эту напрашивающуюся параллель, однако явно не без причины оставила ее без комментария. Из всей статьи она берет только слова *иерофанта*, не затрагивая ни мистериального «облачения»

¹⁹ В «Двух стихиях в современном символизме» (1908) Иванов затрагивал эту тему в основном на материале музыки и драмы, здесь же прозвучала мысль о полифоничности реалистического символизма, который «в последней своей сущности — хор и хоровод» [42, т. 2, с. 545, 553].

трактовки Иванова, ни теоретической проблемы соотношения полифонности и диалогизма. Ее интересует прежде всего механизм рождения словесного мифа, в предельно обнаженной форме заявленный поэтом. Если обычно Иванов исходил из символа-субъекта, к которому прибавлялся символ-глагол, то на этот раз логика обратная, отмечает Гоготишвили. Мысль идет от созерцания «движения Солнца и Звезд» (т. е. от исходного предиката, признака референта), к его будущей глагольной форме («движет»). Будущее же подлежащее мифа («Любовь») не дается сразу, а обретается как прозрение/проникновение в мистическую тайну мироздания. Тот факт, что в возгласе *иерофанта* символический субъект первоначально «оглашается» в форме именной части составного сказуемого, предиката («...знай же, оно — Любовь»), играет на руку предикативной концепции символа: она не только не противоречит представлениям теоретика символизма, а наоборот, переводя на язык лингвистики, делает их более отчетливыми. Кроме того, с опорой на последнюю цитату Гоготишвили фиксирует еще один любопытный нюанс: рождению словесного мифа (*mũthos*) предшествует момент отождествления исходно данного предиката (движения небосвода) и найденной символической объектности («Любви»), что и позволяет им перекрестно поменяться местами в мифологическом суждении. Первый из них, переместившись в позицию грамматического сказуемого, по требованию Иванова, видоизменяется в глагол, символизирующий *действие* и *действенность* обретенного символа-подлежащего. Логический анализ языкового механизма мифа, точно следующий за мыслью Иванова, приводит Гоготишвили к выводу о том, что «миф как целое суждение появляется тогда, когда меняется угол зрения на некое “одно” и когда оба взгляда совмещаются в одной языковой фигуре, тем и становящейся символической» [36, с. 57].

Стоит, наверное, специально подчеркнуть, что речь идет об изменении «угла зрения» в рамках *одного* сознания: «оба взгляда» — это не взгляды разных личностей, а разные модусы восприятия, *двойной* и даже *двоящийся взгляд* одного и того же субъекта: первый модус — *как он видит* «реальное» (феноменальное),

второй — *как* ему открывается «реальнейшее» (ноуменальное). С точки зрения дионисийско-мистерияльного дискурса Иванова совмещение двух уровней возможно в опыте экстатического «расторжения граней» индивидуации, с позиции же логики и лингвистики оба модуса (*двойное КАК*) имеют предикативный характер. Судя по всему, трактовка механизма словесного мифа как «одновременного двойного взгляда на одно», вводилась не столько с оглядкой на Тютчева, сколько с перспективой на будущее, чтобы подготовить почву для различения символизма и диалогизма. В дальнейшем мы увидим, что в двуголосом слове Бахтина, согласно Гоготишвили, скрещиваются не два разных *взгляда* одного субъекта, а два разных *голоса* (*чужого слова* и авторского). Намеченная антитеза, вряд ли можно тут ошибиться, опиралась на бахтинское утверждение, что диалог был монологической темой Иванова, не переведенной им в принцип языковой формы²⁰. Гоготишвили не случайно «не заметила» рассуждений о диалогической и полифонной природе символического искусства, высказанных в «Мыслях о символизме»: жест умолчания говорит о том, что она, вслед за Бахтиным, была убеждена в «языковом недиалогизме» Иванова [36, с. 100].

Выявив механизм скрещения двух предикативных зон, взаимоотноимости субъекта и предиката в составе синтетического суждения, Гоготишвили вплотную подошла к разгадке символизма Иванова. Оставалось сделать только один шаг, чтобы увидеть в прамифе, или архетипических двусоставных символических прафигурах, антиномический принцип. И Гоготишвили его сделала. Разумеется, у нее это не один шаг, а нюансированная до лингвистических тонкостей система доводов и процедур экспериментальных синтаксических трансформаций, исключительно остро-

²⁰ В «Проблемах творчества Достоевского» (1929) Бахтин пишет: «Вячеслав Иванов, найдя глубокое и верное определение для основного принципа Достоевского — утвердить чужое “я” не как объект, а как другой субъект, — монологизовал этот принцип, т. е. включил его в монологически формулированное авторское мировоззрение и воспринял лишь как содержательную тему изображенного с точки зрения монологического авторского сознания мира» [29, т. 2, с. 17].

умных²¹. Мы же перейдем сразу к выводам, имеющим важное значение для нашей темы. Гоготишвили обнаружила, что спецификой символических фигур речи у Иванова является *антиномическое скрещение предикативных зон* субъекта и предиката мифологического суждения, которые оказываются бинарно-контрастной, но и взаимообеспечивающей лингвистической парой, задействующей семантические возможности языка (прежде всего, антонимы) [36, с. 74–75]. Только такая, антиномически напряженная синтаксическая конструкция может указывать на подразумеваемый символический референт, знаменовать не конкретную «вещь» (денотат), а мистическое «событие», которое выступает референтом мифа. В контексте всего рассуждения понятие «событие» получает у Гоготишвили особую, инструментально-языковую трактовку. Подлинным референтом символического высказывания у Иванова, считает она, являются не трансцендентные сущности, а то самое трансцендентно-имманентное безобъектное «состояние сознания», которое возникает в мистическом переживании и которое по сути «есть условный, секуляризованный и частичный, синоним экстаза». В символизме Иванова, подытоживает Гоготишвили, «не язык укоренен в онтологии (в трансцендентной сущности), как обычно трактуется ивановская позиция, а миф и символические фигуры в определенном смысле укоренены в языке. Через эти символические фигуры и сам язык может

²¹ Приведем объяснение ивановских тавтологий из языкового механизма, заложенного в формуле мифа. Берется, например, условная фраза в духе Иванова «жизнь умертвляет», при трансформации субъект и предикат меняются местами, субъект переводится в глагольную форму. В результате получается «столь же символически бессмысленное “смерть оживляет”», но с измененным референтом. Референт останется прежним, догадывается Гоготишвили, если будет осуществлена антонимичная замена одного из компонентов. При подобной трансформации исходной фразы получается «смерть умерла». «Референты исходной и полученной при соблюдении антиномического правила фраз, действительно, оказались в символическом смысле тождественными». Знаменитые ивановские однокоренные символические фигуры, с этой точки зрения, «лишь на поверхности аналитичны и даже супераналитичны до бессмысленной тавтологии, в своей реальной глубине они символические и даже синтетические, ибо основаны в смысловой перспективе на семантической контрастности» [36, с. 78–79].

прорываться в сферы высшего “реальнейшего” мира, что и составляет пафос ивановского символизма» [36, с. 80]. В свете всего вышесказанного телеологию неименующих, необъективирующих, антиномических по структуре символических конструкций у Вяч. Иванова Гоготишвили трактует как стремление инсценировать в поэзии путь к этому состоянию, определяющему, по известной формуле поэта, «целостное двойное КАК: “как” видит художник и “как” выражает» [40, т. III, с. 675]. Символизм призван пробудить («индуцировать») в читателях механизмы мифологической памяти, которые мыслятся принципиально не поддающимися языковой объективации (а значит, и именованию), но предоставляющими возможность «вспомнить» архетипическое состояние сознания, пережить встречу феноменального и ноуменального — то самое «касание миров», которое, по Иванову, лежит в основе любого религиозного опыта. Бёрд рассматривал теорию символизма Иванова как *вмешательство искусства в обряд*, поскольку оно воздействует на читателей с целью обновить или изменить их сознание [2, с. 48]. Гоготишвили же интересуется в первую очередь формально-языковая сторона вопроса: в таком ракурсе лингвистическое новаторство поэта заключается в обновленно-предикативном понимании символической референции мифа, которая знаменует собой живую связь между небесным и земным, трансцендентным и имманентным — то стихийное единство мира и человека, которое существовало до дуалистического разрыва (на субъект и предикат) между ними.

Разгадка формулы мифа становится «магическим» ключом не только к ивановской теории символизма, но и к его «поэтике антиномий», которая рассматривается в «Антиномическом принципе в поэзии Вяч. Иванова», написанном специально для конференции «Вяч. Иванов: между Поэзией и Св. Писанием» (Рим, 28 октября — 2 ноября 2001 г.). Две «ивановские» статьи отличаются не столько финальными выводами, сколько своим целеполаганием. В первой автор возложил на себя *бремя доказывания* (onus probandi) предикативной гипотезы. Задачей второй явилась презентация выведенного *закона* с привлечением огромного фактического материала. Система логических дока-

зательств здесь свернута в краткие констатирующие тезисы, вместо абстрактно-лингвистических рассуждений — обилие цитатных примеров и их типология, в совокупности они демонстрируют универсальность, если не тотальность антиномизма в поэтическом языке Иванова. Установка на жанр устного доклада увеличила удельный вес риторических приемов, которые встречались, конечно, и в первой статье, но терялись в долгом и детальном «раскручивании» сложнейшего комплекса ивановских идей. Самый яркий из них, на наш взгляд, — это сравнение поэзии Иванова с Эдипом (без каких-либо фрейдистских коннотаций). «Иванов культивировал не просто слепую (в чувственном смысле), но самоослепляющуюся, как Эдип, поэзию — поэзию, долженствующую очиститься и очистить от всеобщего греха неправого восприятия зрительно данных явлений и произвольного опредмечивания “бестелесного” и “незримого” мира, чтобы приблизиться, тем самым, к той умной (эйдетической) слепоте, которая одна истинно видит» [36, с. 136]. Расшатывание объективирующих функций языка (прежде всего имени) за счет «пестования» антиномичных конструкций, заключает Гоготишвили, и было той оригинальной и продуктивной лингвистической стратегией, которая проявлялась в развеществленности поэзии Иванова, в ее «прозрачности» и ее гераклитовской «темноте». Таков ответ Гоготишвили на сложнейшие вопросы, поднимаемые в ивановских теориях символизма, в свернутом виде выраженных в формуле словесного мифа как синтетического суждения, где символу-субъекту придан глагольный символ-предикат.

Любопытно, что миф об Эдипе Гоготишвили задействует дважды, но каждый раз берет из него разные сюжетные мотивы. В случае с Вяч. Ивановым она акцентирует момент признания Эдипом своей вины, самонаказание-ослепление, дающее внутреннее прозрение. В случае с Бахтиным — загадку Сфинкса как таковую. Сам Иванов, неоднократно обращавшийся к «античному мифу, ужасающему и божественному», где «всё антиномично, как существенно антиномичны сами люди», утверждал, что Эдип, разрешивший загадку Сфинкса, присвоил его

себе: «Сфинкс вошел в самого Эдипа, в его подсознательную сферу...» [40, т. III, с. 475, 741]. Отвлекаясь от других аспектов этого толкования и заостряя внимание только на отождествлении познающего и познаваемого, получим архетипическую модель акта познания. Попробуем применить эту метафору к самой Гоготишвили. Если для нее Иванов — Эдип (= Сфинкс), а Бахтин, так сказать, Сфинкс сам-в-себе, и оба они задают лингвистические загадки, то она, успешно их разрешая, парадоксальным образом сама оказывается Эдипом (с «поглощенным», «присвоенным» Сфинксом, даже двумя, разгаданными в два этапа). Лишь после «разгадки» ивановского символизма, позволившей раскрыть языковой механизм его формулы мифа, а значит и специфику его символистского (антиномического) характера мышления, Гоготишвили приступила к лингвистическим загадкам Бахтина, сконцентрированным в двуголосом слове, монологизме и полифонии.

В финале второй работы об Иванове намечается логический переход к Бахтину: «Из недр ивановского антиномизма выросла, в частности, бахтинская теория двуголосого слова. <...> В бахтинском двуголосом слове ивановские антонимы разошлись по “голосам”, но остались — как у Иванова — в рамках единой синтаксической конструкции» [36, с. 137–138]. Это заключение выглядит как связующее звено между более ранними «ивановскими» и более поздней «бахтинской» статьями. Создается впечатление, что перед нами многообещающая завязка сюжета «Иванов — Бахтин», который, гипотетически, должен был развернуться в полную меру в статье «Двуголосие в соотношении с монологизмом и полифонией». Очевидна и интрига этого предполагаемого сюжета: скорее всего она строилась бы на антиномически напряженной контрверзе: *два взгляда* в ивановском мифе vs *два голоса* в бахтинском двуголосом слове. На такое предположение, собственно, наталкивает структура книги «Непрямое говорение», куда, как сказано в авторском предисловии, «включены пять работ 1999–2006 гг., расположенных в порядке написания» [36, с. 13]. Заявленный хронологический принцип, многозначительный поворот к Бахтину в финале обеих статей об Иванове

и особенно обыгрывание мифа об Эдипе в конце «Антиномического принципа...» и следующего за ним «Двуголосия...» — все это в совокупности задает определенный вектор читательского ожидания. Однако оно не вполне оправдывается.

4

Прежде чем перейти к интерпретации идей Бахтина, предложенных Людмилой Гоготишвили, необходимо внести одно важное уточнение. На самом деле в «Непрямом говорении» статьи размещены не «в порядке написания», а в порядке их выхода в свет (см. выше). Об этом свидетельствуют черновые материалы из личного электронного архива Гоготишвили. Опираясь на дату последнего сохранения файлов, можно заключить, что иваново-бахтинский сюжет начал разрабатываться практически сразу же после завершения «Между именем и предикатом...». Самая ранняя *заготовка* с домашним названием «ИвБах» (<Иванов и Бахтин>) датируется 12 марта 1999 г.²², т. е. написана она, когда первая статья об Иванове еще находится в печати, а второй нет даже в проекте. По характеру этих черновых записей хорошо видно, что «бахтинская» статья буквально вырастает из «ивановской», можно сказать, «вышивается» по ее канве. В аналитические размышления тут постоянно вклиниваются — в качестве концептуальных скреп — наиболее важные положения и цитаты из «Между именем и предикатом...», которые по ходу дела комментируются, уточняются, развиваются дальше, теперь уже на бахтинской территории.

Здесь как раз и разворачивается сравнение лингвистических идей Бахтина и Иванова, нащупываются параллели и различия прежде всего в их понимании особого, не объективирующего типа референции. Ядро будущей статьи видится автору следующим образом:

²² Благодарю И.Н. Фридмана за разрешение публиковать новонайденные архивные материалы.

Идея может состоять в том, что и Бахтин, как Иванов, не мыслил референции посредством субъекта, но только — через сращивание двух предикатов разной природы (как и у Иванова). Один предикат — от одного голоса, другой — от второго. Это двуголосое слово и осуществляет новый вид референции, то есть порождает новый смысл, поскольку референция у Бахтина не денотативна, не объектна.

Ставятся и конкретные задачи сопоставления:

Надо точнее разобраться с различием между Ивановым и Бахтиным в отношении к поэзии: у Иванова там именно особая двусоставная (не именная) референция, **именно в поэзии символической нет прямого слова, поскольку как минимум нет имен**. Бахтин закручивает эту идею через противопоставления МНОГОЗНАЧНОСТИ СИМВОЛА и ДВУГОЛОСОСТИ прозаического слова. Дилемму разобрать: **два смысла и два голоса**. Вспомнить тематическую и тональную амбивалентности по Бахтину. Брать **антиномии** как предельный и выразительный случай.

На эту дилемму мы уже обращали внимание, но теперь она получает несколько иную формулировку. «Два взгляда» меняются на «два смысла». Это уточнение подтверждает, что Гоготишвили (вслед за Бахтиным) воспринимала поэта-символиста как «монологиста»:

Иванов дал Бахтину обе составляющие: и особый тип референции вкупе с особостью самого референта, и диалогическую идею. Но эти составляющие оставались у самого Иванова, по Бахтину, не сведенными вместе. Миф остается трактованным монологически при всей особости его референцирующей силы, и идея ТЫ ЕСИ осталась только темой, не перейдя в форму (в том числе и в форму мифологического высказывания). **Иванов — монологист последней черты**. У него диалог с Богом не имеет содержания, только модальность (ответ чловека Богу: либо ДА, либо НЕТ).

Наряду с различиями между Ивановым и Бахтиным Гогтишвили намечает и точки сходства. Так, она пишет о «нелюбви обоих к аналитической речи, к разворачиванию имманентных смыслов»; напоминает себе: «НЕ ЗАБЫТЬ провести параллель бахтинской творящей и сотворенной природы с ивановской зиждущей и созижденной формой (двойное КАК, *как* видит и *как* изображает поэт, причем предметом референции я объявляю первое КАК)» и др.

В теоретически отстоявшемся виде, уже без цитатной канвы из статьи «Между именем и предикатом...», материал из файла «ИвБах» переходит в следующий набросок — «Символизм» (12.11.99), который мы публикуем ниже. Здесь выясняется вопрос об отношении Бахтина к символизму Вяч. Иванова, с постраничным анализом ряда бахтинских работ, а также конспектом высказываний современных лингвистов (А. Вежибицкой, Е.В. Падучевой, Н.Д. Арутюновой) о референции, позиции, предикате и пр. Именно здесь впервые Бахтин называется постсимволистом и четко формулируется суть предикативной концепции: «Основная лингвистическая идея русского символизма, которую по-своему модифицировал Бахтин, — предикация или предикативный акт как особый тип референции». «По-своему» — это означает, что предикативность у Бахтина переводится в сферу коммуникативности: «Предикат есть ответ. Ответ есть предикат». Наряду с предметно-тематическим, ответ может быть экспрессивно-тональным, в силу чего экспрессия понимается как «предикация чужого слова», а тональность определяется как «базовая разновидность диалогической предикации».

Финальным этапом разработки темы является текст, содержащийся в файле «Доклад Америка» (30.01.2000), где находим статью «Двуголосие в его соотношении с монологизмом и полифонией», практически полностью совпадающую с печатным вариантом²³. В этой работе Гогтишвили выдвигает следующую

²³ Исследование проводилось по соглашению с Индианским университетом, его результаты обсуждались осенью 1999 г. в качестве ключевого докла-

гипотезу: базовой категорией бахтинской концепции является не полифония и/или монологизм, а двуголосое слово (единая синтаксическая конструкция, которая формально одноголоса (принадлежит одному говорящему и не содержит шаблонов прямой или косвенной речи), тем не менее в ней одновременно — и достаточно отчетливо — звучат два голоса). Между двуголосием и предикативным актом проводится прямая аналогия (чужая речь соотносится с субъектом высказывания, авторская — с предикатом). С этой позиции дается толкование парадоксальных, лингвистически трудноуловимых свойств двуголосого слова (два голоса, разноприродная двуреферентность, трехпредикатность), которое понимается как архетипическая структура языкового сознания. Двуголосое слово сближается с диалогом, а сам диалог трактуется как своеобразная взаимопредикация реплик (тематическая и/или тональная). Лингвистическую загадку Бахтина Гоготишвили разгадывает с помощью амбивалентной формулы: двуголосое слово — это *монологическая разновидность диалогизма* [36, с. 140–173]. Любопытно, что эта дефиниция, по-видимому, варьирует бахтинское определение диалогизма Иванова как монологического. Не случайно монологизм и полифония рассматриваются Гоготишвили как частные виды двуголосия: диаметрально противоположным образом они реализуют в конкретных типах культуры архетипическую двуголосость (диалогичность). Не вдаваясь в дальнейшие детали этой концепции, отметим, что она разворачивается в плоскости абстрактно-теоретической, даже схоластической. Если свои рассуждения о предикативном характере символа и мифа у Иванова Гоготишвили иногда называла «логической игрой» [36, с. 55], то здесь не без самоиронии она говорит о «предикативной логической “волынке”» [36, с. 214]. Но самое удивительное — в статье исчезает пошаговое сопоставление бахтинского двуголосия с ивановским мифом в рамках предикативной концепции. Инте-

да на международной конференции в Блумингтоне (Индиана, США); планировалось, что статья впервые появится в сборнике материалов конференции, но фактически она увидела свет в пятом Бахтинском сборнике в 2004 г. [31].

ресующая нас сюжетная линия, уже разработанная в предшествующих *заготовках*, таким образом, уходит в подтекст. Вяч. Иванов упоминается крайне редко, хотя и в значимых местах, и в целом диалогизм, в духе самого Бахтина, противопоставляется диалектике и символизму как монологическим формам мысли.

Такой поворот, признаться, долгое время выглядел для нас загадкой, на этот раз заданной самой Гоготишвили. Он выглядит особенно странным, если иметь в виду статью «Рецепция символизма в гуманитарных науках», обобщающую весь «предикативный» цикл. Ее первоначальный вариант сохранился в файле «Черновое. Рецепция символизма» (23.04.2000) и был написан, скорее всего, сразу после «Двуголосия...». «Предикативное скрещение антиномий — богатая интеллектуально-техническая идея Иванова», не воспринятая современными исследователями, — с полемическим пафосом заявляет Гоготишвили, — она была «подхвачена и вариативно продолжена в бахтинской философии языка, проинтерпретировавшей ивановские антонимы и антиномии как смыслы, исходящие от разных личностей (голосов)»; «на символическом фундаменте во многом базируются и бахтинская карнавальная концепция, и идея двуголосого слова, а в перспективе и полифоническая концепция, которые — как и ивановская формула предикативности мифа — также не находят адекватной рецепции в рационализирующем их гуманитарном мышлении» [37, с. 172–173]. Это утверждение почти полностью совпадает с финальным выводом «Антиномического принципа в поэзии Вяч. Иванова», который, напомним, появился позже, к осени 2001 г. Следовательно, большой пассаж о Бахтине в конце этой статьи, как выясняется, был вовсе не зерном будущего «Двуголосия...», а концептуальной выжимкой из всех работ, предпринятых после «Между именем и предикатом...», и прежде всего из черновых *заготовок*. Вторая статья об Иванове, в итоге, завершает предикативную интерпретацию символизма, предложенную Людмилой Гоготишвили.

Не учитывая реальную историю создания цикла, трудно уловить логику решения тесно связанных между собой лингвистических загадок Иванова и Бахтина, особенно если подходить со

стороны «бахтинской» статьи, где эта смысловая антитеза намечена пунктирно. Почему же Гоготишвили не довела до печати те наброски, где параллель между предикативной концепцией символа и мифа у Иванова и предикативной интерпретацией двуголосого слова и диалога у Бахтина основательно продумана? Почему не обнародовала свое *лингвистическое* решение проблемы влияния Вячеслава Иванова на Михаила Бахтина, в то время как в преамбуле к «Философии поступка» всесторонне рассмотрела генетическое родство их *философско-эстетических идей*?

Ответить на эти вопросы можно лишь гипотетически. Очевидно, что Преамбула к раннему и лишь частично сохранившемуся трактату Бахтина готовилась не один год, но завершающий этап работы пришелся на момент, когда уже были написаны статьи предикативного периода. Гоготишвили устанавливает здесь прямую взаимосвязь между бахтинским нравственным первопринципом — «абсолютным себя-исключением» — и комплексом ивановских идей, связанных с архетипом жертвы. Всемерное «концептуальное наращивание весомости индивидуально-единственного Я», подчеркивает она, у Бахтина ведется «с целью его “заклания” (подобно ритуальному откармливанию жертвенного агнца). Я — мистериальная жертва бахтинской нравственной философии, или — ее трагический герой, предопределенный к гибели катартической телеологией трагедии» [29, т. 1, с. 357]. Бахтинское «само себя-исключающее Я» — «жрец и жертва в одном лице (ивановский мотив)» [29, т. 1, с. 375].

Иванов, как и Бахтин, несмотря на всю глубину различия между ними, полагает она, «не уместается в узкие рамки символического течения русской философии, особенно в ее сложившемся “классифицирующем” понимании». Объединяет обоих мыслителей их неуловимость в рамках жестких «парадигм» философской мысли начала XX в., хотя оба они имеют особое отношение к символизму в узком смысле, т. е. к литературному течению рубежа веков. У Бахтина «нет практически ни одного позитивно маркированного употребления этого понятия», но и Иванов, согласно Гоготишвили, двигался от символизма к персонализму: «Ивановский символизм если не изначально, то по нараста-

ющей становился персоналистическим, вплоть до означенного выше постепенного и полного отхода от первоначальной безлично символистской терминологии»²⁴. Близкой оказывается и персоналистическая проблематика: в «К философии поступка» так же, как у Иванова, «тезис о неправоте отвлечения от персонального Я совмещался с темой поиска выхода из тупика солипсизма» [29, т. 1, с. 392]. Мысль Бахтина, и даже его стиль, подчеркивает Гоготишвили, формировалась во многом «как следствие концептуальной установки на совмещение двух антиномичных тезисов: центральности категории Я как предмета философского внимания в качестве единственно возможного “автора” соприкосновения миров и, второй тезис, принципиальной необъективированности Я, невозможности превратить его в объективированный предмет философского описания» [29, т. 1, с. 396].

Одной из основных линий сближения Бахтина и Иванова, как видим, является критика «неправой» объективации, на которой строится современная культура, их установка на «принципиальную необъективированность» референта высказывания. Но при этом отмечается, что они исходят из разных оснований. Если на первом плане нравственной философии Бахтина — *ответственная нудительность нравственного поступка, единственная единственность моего Я*, недоступная взгляду извне, а значит и объективации, то у Иванова речь идет о невозможности выразить в языке (прямо назвать) содержание мистического опыта. Исходя из этого, намечаются и другие пункты сходства и различия, в частности, между бахтинским *событием бытия* и ивановским мифологическим *событием*; говорится о разных типах *участного мышления* у Бахтина, нравственного и мифологического, что подразумевает принципиальную точку расхождения во взглядах «учителя» и «ученика». Но в целом складывается впечатление, что в Преамбуле Гоготишвили в большей степени настроена на «согласительный синтез»: гипотезу о фундаментальном родстве идей Иванова и Бахтина она доказывает гораздо активнее, чем анализирует их разногласия. Обращает на себя внима-

²⁴ Такую же точку зрения часто высказывал Роберт Бёрд, см., напр.: [2, с. 67].

ние, к примеру, осторожное замечание о том, что один из самых существенных частных моментов спора бахтинской концепции с фундаментально родственной позицией Вяч. Иванова касается области взаимоотношений *этического себя-исключения* и *эстетической вменяемости* [29, т. 1, с. 379]. Момент несколько уточняется, когда речь заходит о различиях между монологической и полифонической формами вменяемости автора, подчеркнутых Бахтиным в «Проблемах творчества Достоевского» [29, т. 1, с. 422–423]. Но от обсуждения одного немаловажного аспекта, который вряд ли можно было пропустить, Гоготишвили уклоняется. Бахтин, как известно, резко противопоставлял ответственную «причастность бытию-событию мира в его целом» и «безответственное самоотдание бытию», или «одержание бытием (одностороннюю причастность)». С его точки зрения, именно к ней в значительной степени «сводится пафос философии Ницше, доводя ее до абсурда современного дионисийства» [29, т. 1, с. 44]. Пассаж выглядит прямо-таки «антиивановским» демаршем. В примечаниях к этому месту Гоготишвили упоминает, что Иванов был проповедником Диониса в России, но, «впрочем», добавляет она, ослаблял нигилистический пафос и агрессивный натиск Ницше. Однако следующую ее фразу о том, что под влиянием культуры русского символизма «дионисийство» подвергалось широкой вульгаризации в быту артистической богемы [29, т. 1, с. 454–455], можно понять в том смысле, что Бахтин критикует вульгарное «дионисийство», а не ивановское, рафинированное — что как минимум спорно. Вместе с тем, обходя стороной тонкий вопрос о соотношении дионисийства Иванова с этической причастностью бытию-событию у Бахтина, Гоготишвили утверждает, что «принцип себя-исключения, антиномически завершающий наращивание значимости индивидуального аспекта», исключает возможность «сколь бы то ни было существенно толковать бахтинскую позицию как философию жизни в ее ницшеанском русле» [29, т. 1, с. 372]. Можно найти и другие косвенные подтверждения тому, что в задачи Гоготишвили входило не дотошное выявление разноречий между Ивановым и Бахтиным, а напротив, их разностороннее сближение.

В любом случае Преамбула «К философии поступка» имеет огромное значение для темы «Иванов — Бахтин» в интерпретации Гоготишвили, потому особенно, что она создается *после* лингвистической трактовки ивановского мифа и бахтинского двуголосия, а значит, во многом на ее основе. В самом деле, хотя в Преамбуле на первый план выдвинуто идейное влияние Иванова на Бахтина (т. е. это *что*), нельзя не заметить, что в реконструкции не сохранившейся полностью бахтинской работы Гоготишвили оперирует другим аспектом вопроса — *как*. Прежде всего это касается антиномичности и амбивалентности мысли Бахтина: воссоздание ее архитектуры происходит в основном с опорой на антиномизм Иванова. Настойчиво проводится мысль об «антиномически организованном дискурсе», о «контрапунктном принципе смыслового строения» философского трактата, аналогичного «антиномическому принципу Вяч. Иванова», за которым, в свою очередь, стоит многовековая стилистическая традиция антиномического мышления и выражения, включающая в себя как «поэтику антиномий», так и «поэтику тавтологий» [29, т. 1, с. 380, 383]. Интересно, что Гоготишвили ссылается тут на формулировку Аверинцева и на свою статью «Антиномический принцип...», приводит примеры тавтологий у Иванова (*«Горит огонь; и, движась, движет сила; / И волит воля; и где воля — действие. <...> Свершается свершитель, / И делается делатель»* [40, т. I, с. 743]) и у Бахтина (в ФП — *единственная единственность, волеизволение* и др.). При этом, что характерно, она не считает нужным упомянуть о том, что лингвистический механизм тавтологий Иванова был «выведен» с помощью трансформаций его мифологического суждения в статье «Между именем и предикатом...» (см. прим. 22). Однако все вышесказанное убеждает, что в основе истолкования философских идей раннего Бахтина лежит предикативная концепция Гоготишвили. «Лингвистическая конкретика» предшествующих работ находится в Преамбуле в латентном виде, но ее рефлексy отсвечивают как в приведенных случаях, так и когда говорится о теории двуголосого слова, а само двуголосое слово понимается «как результат перевода изначальной стилистической страте-

гии М.М.Б. в предмет его философских и гуманитарных исследований» [29, т. 1, с. 396–397].

Итак, Гоготишвили по-своему решила взаимосвязанные лингвистические загадки Иванова и Бахтина, отмыкающие «ворота смысла». На вопрос, почему же она так и не опубликовала свои материалы по их сопоставлению, ответ нашелся в архивном документе с малоговорящим названием «Амер. 2» (09.08.2004). Это оказался текст той же статьи «Двуголосье...», но его предваряет помета, набранная прописными буквами, как обычно Гоготишвили отмечала наиболее важные вещи: «ЭТО ВАРИАНТ БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПРАВКИ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ СНОСКИ НА ЭКСКУРСЫ». Действительно, в отличие от файла «Доклад Америка», совпадающего по содержанию с первой публикацией, здесь к основному оглавлению добавлены Приложения, а именно шесть пронумерованных и отдельно озаглавленных «экскурсов» (с ремаркой в скобках: «ЭКСКУРСЫ НЕ ПЕЧАТАЮ»). После четвертого из них — «Двуголосье в сравнении с логикой, диалектикой и символикой» — следует запись: «ВНИМАНИЕ: можно вставить отдельный экскурс: “Бахтин и Иванов” (есть в заготовках)». В свете этого материала многое проясняется. Судя по датировке, именно этот вариант статьи Гоготишвили планировала поначалу включить в «Непрямое говорение». Тем не менее в книгу он так и не вошел. Причин тому было, вероятно, несколько. Книга готовилась к изданию в сложной ситуации²⁵, когда все силы автора были брошены не на «старые» работы (уже опубликованные «ивановские» и «бахтинская» статьи), а на новые (об «эйдетическом языке» у Лосева и теоретический трактат «К феноменологии непрямого говорения»). К последней из них в свою очередь приложены шесть экскурсов, более значимых для Гоготишвили, сменившей к этому времени формально-лингвистический (предикативный) подход на феноменологический, более подходящий для описания феномена «непрямого говорения». Надо думать, вопрос с экскурсами был решен в

²⁵ Не последнюю роль здесь сыграло, вероятно, и состояние здоровья Гоготишвили: в 2006 г. она перенесла первую онкологическую операцию.

пользу новой тематики и новой методологии, в результате чего прежние разработки остались неизданными.

Мы публикуем отдельные фрагменты из *заготовки* «Символизм», частично повторяющей основные положения из файла «ИвБах». Конспекты из работ современных лингвистов мы опускаем, из Бахтина — оставляем: они наглядно демонстрируют, как детально Гоготишвили прорабатывала тексты своих «героев», «переводя» исходные цитаты в русло своей предикативной концепции. Несмотря на неизбежную отрывочность воспроизведения и «лабораторный» характер текста, не предназначенного для печати, он может многое прояснить как в предикативной интерпретации символизма Иванова, далеко не однозначно воспринятой в иванововедении, так и в предикативной трактовке двуголосого слова Бахтина, еще менее, по-видимому, усвоенной²⁶. Но самое главное — этот набросок, так никогда не увидевший свет, дает возможность проследить логику Людмилы Гоготишвили, разгадывающей лингвистические загадки двух Сфинксов — Вячеслава Иванова и Михаила Бахтина, а через них — философию языка русского символизма.

Текст публикуется с сохранением авторского написания ключевых слов (*пра-миф*, *пра-форма*), а также графических акцентов (полужирного шрифта, курсива и применения верхнего регистра, Caps Lock'a), опечатки исправляются, сокращения раскрываются без оговорок. Примечания автора даются в постраничных сносках со знаком звездочки. Комментарии публикатора — в концевых сносках.

²⁶ За исключением точечных позитивных оценок в статьях Н.Д. Тамарченко [16, с. 346, 349], нам известна только одна работа, в которой подробно излагается предикативная интерпретация двуголосия, монологизма и полифонии у Бахтина, но без указания на ее концептуальную взаимосвязь со статьями Гоготишвили о символизме Вяч. Иванова [26].

А.А. Гоготишвили

СИМВОЛИЗМ

1. Символизм занимает особо маркированное место: символические сочетания антонимов максимально приближены к амбивалентным, но все же, по Бахтину, остаются не таковыми, **поскольку символизм принципиально однотонен**. Возможно, впрочем, иное толкование, например, ивановского типа символизма, но в данном случае важнее те аргументы, которые Бахтин выставляет в качестве доказательства неамбивалентности символизма. Главный его аргумент состоит в том, что вся судьба символа (как и метафоры) сосредоточена в разного рода приближениях и отдалениях от своего предмета; проблема символа есть проблема соотношения слова с предметом. Следовательно, Бахтин интерпретирует референт символической речи как предмет или сущность (это, кстати, наиболее распространенная точка зрения), но вероятна и совсем иная интерпретация символического референта — как архетипического состояния сознания. Дело, впрочем, не в разнице интерпретаций референта символической речи, а в том, что ровно так же — как состояние сознания или как расширение сознания — может быть проинтерпретирован и референт обоих базовых типов бахтинских амбивалентных высказываний: как карнавального, так и двуголосого слова.

ПРИМЕР КАРНАВАЛЬНОГО СЛОВА: *смерть тебе, синьор отец!*¹ Здесь есть и серьезно-прославляющий полюс (*синьор отец*), и смеховой-бранный (*смерть тебе*). Причем, эти фрагменты даны в **предикативной** связи. Предметно понимаемого референта здесь нет, референцируется некое смещение акцентов сознания, в результате которого воспроизводится архетипический настрой, архетипическое ивановское КАК (о ЧТО и КАК см. МФЯ, 130)².

Интересно, что с такой точки зрения меняется смысл знаменитого бахтинского двутелого карнавального образа³. Он — не

адекватно воспроизведенный референт карнавального слова, а **промежуточная ступень** к воспроизведению искомого архетипического состояния, ступень, на которой расшатываются привычные представления о прямой конкретной предметности референтов неамбивалентной речи.

2. Ивановский символизм, в его, по крайней мере, теории, тоже не ориентировался на изолированное имя. Не ориентировался он и на изолированный символ. Прафеномен символической поэтической речи, по Иванову, тоже двусоставен. Иванов возводил свои символические синтетические суждения к **двусоставной** мифологической пра-форме **языковой** природы, причем прямо говорил при этом об обязательности предикативно-го акта и даже в наиболее узком его понимании — с непосредственно глагольной предикацией.

Про двусоставность у Иванова. Острота ивановских идей в этой области не только в том, что роман, стихотворение, религиозно-философская система и даже, возможно, типы культур могут быть условно свернуты в пра-миф, а, напротив, в том, что **миф, по Иванову, это — предел «сворачивания» и что сам миф, а вместе с ним и все символические фигуры речи, не могут быть в свою очередь свернуты в символ и тем более — в имя**⁴.

По существу, это предварительная и усеченная (без тональной амбивалентности), но все же бахтинская идея или ее вариация. У Бахтина тоже есть предел сворачивания — два голоса. Двуголосое слово не может — без утраты своей многосоставной референции — быть свернуто (или не может быть нейтрализовано) в один голос (в предложение с одной предикацией к одному референту). Тем более — в имя. Если таковое происходит, то это уже не двуголосое, а одноголосое слово.

Не может, по Иванову, и символ быть развернут в миф, так как последний для осуществления референции нуждается, по Иванову, в **синтетическом** добавлении к символу второй предикативной зоны — добавлении «со стороны», а не изнутри самого символа.

Эта же идея есть и у Бахтина. В его координатах она выражается как утверждение невозможности выхода на двуголосое

слово из сферы замкнутого на себя сознания (из, например, аналитизма или диалектики). Чтобы появилось двуголосое слово, нужно ввести голос второго я.

Иванов при этом возводил свои символические синтетические суждения к **двусоставной** мифологической пра-форме **языковой** природы. Могут ли быть возведены к некоей собственно **языковой** пра-форме бахтинские двуголосые и полифонические конструкции? В обычном смысле — вероятно, нет. В некоем жестком варианте — может, и да.

У Иванова пра-миф имеет языковую форму, у Бахтина пра-феномен романного слова не имеет языковой формы, он амбивалентен и интонационен, можно говорить, что он скорее обряден и ритуален. Прафеномен Бахтина **диалогичен**, т. е. ориентирован не на саму речь, на ее семантику, а на **ситуацию** общения. Архетипичны ситуации общения, т. е. взаимные позиции говорящего и слушающего, статус и природа референта, коммуникативная цель. Эти архетипические компоненты прямого отношения к языковой семантике и формальному синтаксису не имеют. В каком-то смысле Бахтин вообще аннигилирует языковую семантику, сворачивает ее в коммуникационное ничто. Язык — последний покров на пути от разросшейся культуры к архетипу и первый покров на пути от архетипа к культуре. (Возможны аналогии и расхождения с Зильберманом)⁵.

Бахтин сделал по направлению, указанному Ивановым, шаг, который сам Иванов не сделал. Ивановская идея о превалировании КАК речи, в том числе и мифа, над ее ЧТО — зародыш бахтинских тоновых архетипов (точно так же, как ивановское ТЫ ЕСИ — источник бахтинского двуголосия и полифонии*). Но Иванов на пути к архетипу остановился перед семантикой

* Возможно, и архетипическая карнавальная антиномика появилась в бахтинской мысли именно по следам Иванова — недаром в лекции о нем специально подчеркивается этот момент. В частности, идея антиномичного противостояния и одновременно сращения божества и жертвы. — *Прим. Гоготии-вили*. Упоминается лекция Бахтина «Вяч. Иванов», записанная Р.М. Миркиной [29, т. 2, с. 316–327].

языка, оставив ее в ограде архетипа, Бахтин — перешагнул семантику языка, оставив ее вне этой ограды.

3. У Иванова семантически осложненное скрещение антонимов тоже происходит за пределами и логики, и аналитики, и диалектики — в символике, в двусоставном и предикативном символическом высказывании. Но и ивановская символика остается, по Бахтину, как и логика, и аналитика, и диалектика, в пределах идеи так или иначе понимаемого единства сознания, а у Бахтина — в точке диалогического скрещения принципиально разных сознаний. Амбивалентные семантические сращения локализуются Бахтиным не в пределах одного сознания в его сколь угодно сложных отношениях к предмету и в сколь угодно сложных формах саморазвития смысла, а между двумя сознаниями, воплощенными в голоса.

Судьба антонимов здесь несколько иная: одно дело — взаимоотношение антонимов в топографическом единстве, будь то вертикальная картина мира или карнавал, другое дело — взаимоотношение антонимов там, где романтизм сделал свое дело и где появилось я-для-себя и противопоставленное ему я-для-другого, не вмещающиеся полностью в топографию, основанную на взаимоотношениях Я — МЫ. Рассеивание топографического фона лишило романное слово конкретной ситуации общения. **Где появилось реальное глубокое Я, там карнавальные антонимы, жившие в топографии, основанной на серьезно-смеховом архетипе общения, органичной амбивалентной предикативной сращенностью (но не тождеством), разошлись по разным Я.** Их надо было опять сращивать, но уже по иному ситуативному принципу, используя уже другой, архетипически заложенный в них и ранее не в полную силу использованный предикативный клей — амбивалентное сращение точек зрения извне-изнутри.

4. Толкование сложного места в ВЛЭ, 138–141⁶:

Проблема разворачивания во внешний диалог. Бахтин несколько раз на протяжении этих нескольких страниц обращается к идее разворачивания двуголосия в реальный диалог двух

лиц. В первый раз говорится о принципиальной **возможности** такого разворачивания применительно к поэтической и риторической двуголосости (которым противопоставлена подлинная предобразованная в языке прозаическая двуголосость). Именно не подлинная двуголосость риторики и поэзии **может быть** адекватно развернута в такой диалог — и это оценивается как минус, как следствие единоакцентного монологического стиля (в ППД речь тоже идет о разворачивании внутреннего диалога персонажа — Голядкина — во внешний)⁷. Затем говорится, что подлинная прозаическая двуголосость в такой диалог без остатка развернута **быть не может**, и эта невозможность оценивается как плюс, как **тематическая** (!!!) неисчерпаемость прозаического двуголосия (в отличие, следовательно, от тематической исчерпаемости риторического и поэтического двуголосия в первом случае). Причем говорится, что также **тематически** неисчерпаема и **метафорическая** сила языка, и **миф**.

И вот затем третий случай. Речь опять идет о поэтическом слове. Но уже не о ДВУГОЛОСОСТИ его, а о ДВУСМЫСЛЕННОСТИ ИЛИ МНОГОСМЫСЛЕННОСТИ **символа** и тропов вообще, значит, и метафоры. (ВНИМАНИЕ! видимо, сюда же относится по Бахтину и миф?) Так вот эта двусмысленность уже **не может быть** развернута в диалог, в две реплики диалога, то есть эти два смысла символа **не могут** поделиться между двумя голосами. Поэтому, мол, поэзия и одноакцентна. Встречающаяся в поэзии двуголосость **может**, таким образом быть развернута в диалог, ибо она ущербна по сравнению с прозаической двуголосостью, последняя — **не может** (и это плюс), но **не может** быть развернута в диалог и истинная двусмысленность поэзии (символическая и метафорическая), и **это тоже, следовательно, плюс** поэзии (а совсем не минус поэзии). Значит, двусмысленность поэзии — не тематическая. Надо понимать — не аналитическая, а как бы диалектическая или, лучше, синтетическая, а еще лучше — символическая в ивановском смысле. Она не может быть развернута в диалог, ибо ее синтетичность одноакцентна. А выше поэзия разворачивалась именно в одноакцентном монологическом стиле, но разворачивалась, надо понимать,

аналитически. Невозможность разворачивания в реплики диалога есть **позитивная** характеристика символической поэзии, прозаического двуголосия и полифонии, и сама **эта невозможность вполне может быть проинтерпретирована как наличие между составляющими предикативной связи**, аннулирование которой разрушает полный смысл фразы, хотя частично он и передается семантикой составляющих ее элементов.

Далее Бахтин говорит, что точнее понять эту особенность символа (его двусмысленность и невозможность разворачивания во внешний диалог) можно, попытавшись вселить в его второй голос, например, иронию. Тогда поэтический двусмысленный символ сразу становится двуголосым, поскольку между ним и его предметом вторгается чужой акцент (следует пример с переакцентуацией романтизма Ленского в «Евгении Онегине»). «Евгений Онегин» оценивается при этом как прозаическое двуголосие, откуда следует, что эту двуголосость истинного прозаического символа тоже нельзя без остатка и без потерь развернуть в диалог двух лиц.

с. 143. Двусмысленность поэтического символа не может быть развернута в диалог, ибо она одноакцентна и тем синтетична, прозаическое двуголосое слово — двуакцентно и может предполагать диалог, но до конца и адекватно в него развернуто быть не может, видимо — тоже вследствие своей некоторой синтетичности. «Порождая из себя прозаические романские диалоги, подлинная двуголосость не исчерпывает себя в них и остается в слове... как неиссякаемый источник диалогичности»⁸, ибо всякое реальное слово внутренне диалогично. **Эта синтетичность прозаического двуголосия основана на двуакцентности, которая не может быть разорвана до конца вследствие того, что акценты (голоса) здесь соединены не по аналитической методе, а предикативно. Разрыв предикации ведет к исчезновению целого.** Так же нельзя разорвать предикацию в ивановском мифологическом символическом суждении: остающиеся в таком случае в руках два изолированных символа сами по себе никак не референцируют того, что предполагалось синтетическим суждением в его целом. Если мы разорвем прозаический

ческое двуголосое слово на два голоса, мы, следовательно, нарушим, по Бахтину, адекватную референцию двуголосого слова в его целом. <...>

Если искать направление мысли, в русле которого удобнее описывать смысл лингвистических инноваций Бахтина, то это символизм. В определенном смысле Бахтина можно было бы даже назвать постсимволистом. Основная лингвистическая идея русского символизма, которую по-своему модифицировал Бахтин — **предикация или предикативный акт как особый тип референции**.

Идея об особом типе референции основана на особом — символическом — понимании самого референта. В отличие от традиционного понимания, согласно которому синтаксический субъект референцирует (идентифицирует) некий предмет (элемент) **внеязыковой** действительности, а предикат дает его сигнификативное описание изнутри языка, символический референт мыслится в том же «пласте реальности», что и предикат. Будучи связаны с одним «пластом реальности», субъект и предикат при таком обновленном понимании, с одной стороны, теряют свое сущностное различие, но, с другой стороны, сохраняют формальную и синтаксически-функциональную различенность. Субъект и предикат ивановского мифологического суждения или бахтинского двуголосого слова оба сигнификативны, и в этом смысле **оба** — в традиционном понимании — **предикативны**. С другой стороны, в форме взаимного предикативного скрещения (а не изолированно) они референцируют (идентифицируют) некий особый референт сигнификативной природы, и в этом смысле, но уже в обновленном понимании, **оба референциальны**.

Этот референт, идентифицируемый через предикативный акт, не только «сам» не объектен, но и не поддается «внешней» языковой объективации (например, субстантивации), то есть не семантизируется (как минимум, в лексическом отношении), но тем не менее он поддается референции. Так, в по-ивановски понятом мифологическом суждении синтетическое скрещение двух предикатов идентифицирует в качестве своего референта определенное «состояние сознания», определенное «как» взгляда на мир. Рефе-

рент бахтинской полифонии той же природы, его можно в широком смысле обозначить через понятие «расширение сознания».

Можно было бы перевернуть это рассуждение и говорить о том, что в таких случаях обосновывается не новый тип референции, а новый тип предикации, поскольку такого рода «состояния сознания» возбуждаются (индуцируются) в сознании слушающего, то есть не референцируются как нечто идентифицируемое из «уже» известного, а возникают как нечто новое — а это ближе к традиционной функции предиката. Но в таком толковании нарушается исходная установка: мы получаем предикацию без референта. Референт без предикации мыслим, хотя бы условно, предикат без референта немыслим, поскольку он все равно будет «искать» прикрепления к чему-либо. В конечном счете получится, что референтом станет сознание слушающего, а предикатом — индуцирование некоего состояния сознания.

Нечто похожее, собственно, мыслится в теории речевых актов: иллокутивная сила речевого акта аналогична традиционной предикации, которая направлена именно на партнера речи (приказ, просьба, пожелание, вопрос и т. д.). Но имеется и существенная разница: в теории речевых актов «содержание» предикации является субъективным коммуникативным намерением автора, а в описываемом нами варианте символической концепции предполагается отнесение к некоему «объективному» состоянию сознания.

В конечном счете, постановка на первый план предикации или референции — это дело выбора приоритета. Для символических доктрин, постулирующих приоритетность и возможность прорыва к «высшей реальности», естественней говорить о ее референции, чем о предикации к ней.

По существу, здесь расшатывается само противопоставление субъекта и предиката, они становятся равными членами предикативного акта с разными синтаксическими функциями. На первый план выходит сам **предикативный акт**, который и понимается как особый способ референции.

Это не значит, что отрицается предикация как таковая, напротив — она остается в силе, но получает дополнительные функ-

ции. Обычные субъект и предикат становятся формой или способом новой референции. Логико-синтаксическое деление на субъект и предикат необходимо для описания этой новой формы референции. <...>

Про предикативность

Предполагаемый конечный тезис состоит в утверждении диалогической природы (сущности) предикативного акта как такового. Пока условно: предикация — это по внутренней форме «говорение о». Предикация — это и есть диалог. Говорится не о мире как таковом (чистого слова, в смысле и качестве чистого имени предмета, не существует), но говорится о предшествующей речи о том же предмете. Формулируя субъект своего высказывания, говорящий делает одну операцию (фиксирует тему своего говорения, обособляет ее и берет в состоянии самотождества), а составляя предикат — делает иное (высказывается о теме). Первое неизбежно подается в том или ином отношении извне, второе — изнутри. В предикативном акте как некоем целом одновременно происходит, таким образом, смена и совмещение точек зрения извне и изнутри. И в самой обычной (одноголосой) конструкции, типа *Иван зарядил ружье*, говорящий осуществляет редуцированную операцию аналогичного диалогического характера. Синтаксический субъект — это не безличная «объективная» идентификация внелингвистического предмета речи, а — или функциональная замена, или аналог реплики собеседника. Или предвосхищение реплики ТЫ, или имитирование голоса ОН. То есть подача темы с некой точки не изнутри себя, с некой реальной или условной точки зрения извне себя. Объективация.

Обычный предикативный акт — это не альфа и омега для объяснения природы предикации, а, наоборот, то, что может быть понято только после объяснения диалогичности этой природы. Диалог — сущность языка; предикативный акт — имманентная синтаксическая форма отражения диалога. Как для такового син-

таксическая конструкция с подлежащим и сказуемым не является для предикативного акта исчерпывающей и единственной. Внешние синтаксические связи могут и в большинстве случаев отсутствуют (как в бахтинских ДС⁹). Наоборот: синтаксическая форма с подлежащим и сказуемым — это стянутый диалогизм, выработанная языком имманентная синтаксическая форма имплантации диалога внутрь высказывания.

Все разнообразные смены точек зрения, речевых центров, фокусов внимания и т. д., то есть весь карнавал местоимений и даже смена того, что называется пространственно-временной точкой зрения — все это вариации совмещения точек зрения извне/изнутри с разной степенью редукции диалогизма. Механизм предикации везде один и тот же: одновременная смена и совмещение точек зрения. В обычных случаях точка зрения извне и, следовательно, языковое замещение «другого» дается в позиции синтаксического субъекта, а точка зрения изнутри, то есть самого говорящего, дается в позиции предиката. Происходит объективизация точки зрения извне и ее подавление. В одногolosом синтаксисе — абсолютное подавление, в двуголосии — относительное (здесь хотя два голоса и ощущаются как два голоса, один тем не менее доминирует). В полифонии же гипотетически мыслится равноправие голосов и равенство точек зрения извне и изнутри, что и должно, по Бахтину, обеспечить объективность и амбивалентность высказывания.

Именно потому, что чистое одногolosие есть, по сути, **фиктивная предикация**, такого рода конструкции (логические и диалектические) безболезненно свертываются в именные группы, в которых нет двух голосов (подвижный покой и пр.).

Предикативные словосочетания являются не прообразом предикативного акта, но, напротив, его вторичным, собственно языковым синтаксическим отражением.

Тонкость заключается при этом в том, что поскольку синтаксические предикативные словосочетания не являются прообразом предикативного акта, последний может осуществляться и в непредикативных словосочетаниях, в частности — в именной группе. Внутри, например, той же *беременной смерти*¹⁰ или

внутри сочетания *превосходные кресла* из бахтинского примера в МФЯ¹¹. Но это возможно лишь в составе длительного дискурса.

Из РЖ¹²

262. Возможно вычитать гипотезу о том, что предикативная часть высказывания может быть определена содержанием ответа на него, например, в реплике-согласии: *Солнце взошло. Пора вставать — Да, действительно пора.*

Итак, предикатом высказывания является то, что воспроизводится в реплике согласия (или отрицается в реплике-отрицании). Помимо прочего это подтверждает предикативность диалогических отношений или диалогичность предикативного акта.

Если предложение входит в состав целого высказывания, то оно не самолично вызывает ответную реплику. То же *Солнце взошло* в составе словесного пейзажа есть лишь элемент. Ответная реплика на это предложение невозможна. Ответ здесь — впечатление от пейзажа, оценка его.

265. Тональность (экспрессивная интонация) конститутивный признак высказывания¹³. То есть тональная антиномичность есть в любом ДС.

266. Значение само по себе не экспрессивно¹⁴. Я: то есть тематические антонимы еще сами по себе не тонированы.

МОЖНО закрутить интригу в том плане, что недаром логика и диалектика (Фреге и Лосев) отказались от предикативного акта¹⁵. Предикативность действительно путает там все карты. И недаром же символизм заинтересовался предикативным актом (Иванов).

Предикативность должна быть объединена не с саморазвитием смысла и не с именующей и референцирующей силой языка, а с его коммуникативностью.

271. **«Каждое высказывание надо рассматривать как ответ»¹⁶.** Предикат — это ответ.

В логике предикатом считается то, что утверждается. Этот же смысловой фрагмент высказывания у Бахтина называется ответом. **Предикат есть ответ.** Ответ есть предикат.

Экспрессия никогда не может быть объяснена только предметно-смысловым содержанием высказывания (РЖ, 272)¹⁷. Экспрессия — предикация чужого слова. Тональность — базовая разновидность диалогической предикации.

¹ «Пример карнавального слова» взят из книги Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса»: «В карнавальном мире отменена всякая иерархия. Все сословия и возрасты здесь равны. И вот мальчик гасит свечку своего отца и кричит ему: “Sia ammazzato il Signore Padre!” (т. е. “Смерть тебе, синьор отец!”). Этот великолепный карнавальный крик мальчика, весело угрожающего отцу смертью и гасящего его свечку...» [29, т. 4 (2), с. 269].

² Имеется в виду следующее высказывание из работы Бахтина «Марксизм и философия языка» (1929), вышедшей под фамилией В.Н. Володинова: «Другой момент переживания — это функция данного *предметного содержания в замкнутом единстве индивидуальной психической жизни*. Вот эта-то *пережитость* или *переживаемость* всякого вне-психического содержания и является объектом психологии. Или, говоря иными словами, объектом функциональной психологии является не “что” переживания, а его “как”. Так, например, содержание какого-нибудь мыслительного процесса, его “что”, не психично и принадлежит компетенции логика, гносеолога или математика (если дело идет о математическом мышлении). Психолог же изучает лишь то, *как* осуществляется мышление данных объективных содержаний (логических, математических и иных) в условиях данной индивидуальной субъективной психики» [30, с. 372].

³ Ср. у Бахтина: «Раблезианский образ — двутелый образ: он говорит, что сама старость расцветает в новой юности (“mon antiquité chanue refleurir en ta jeunesse”). Он дает близкий к духу подлинника перевод на официальный риторический язык народно-гротескного образа беременной старости или рождающей смерти» [29, т. 4 (2), с. 434].

⁴ Выделенный текст — автоцитата из статьи «Между именем и предикатом...» [36, с. 60–61].

⁵ Вероятно, Гогтишвили предполагала сопоставить «полифонизм» Бахтина и «симфонизм (полиномизм)» Давида Зильбермана (1938–1977), оригинального философа, индолога, разрабатывавшего философию «модальной методологии». У Зильбермана встречаются отсылки к Бахтину [38, с. 135, 336]. Замысел не был реализован.

⁶ Гоготиливили излагает работу «Слово в романе» по книге Бахтина «Вопросы литературы и эстетики» (1975). В указанном диапазоне страниц речь идет о *двуголосом слове* в романе, о двусмысленности прозаического слова в отличие от двусмысленности и многосмысленности поэтического слова, в том числе символа (тропа). Прозаическое слово может быть развернуто в диалог: «два голоса диалогически соотносены, они как бы знают друг о друге (как две реплики диалога знают друг о друге и строятся в этом взаимном знании о себе), как бы друг с другом беседуют. Двуголосое слово всегда внутренне диалогизовано». Взаимоотношение смыслов в поэтическом символе — «во всяком случае, не диалогического рода, и никогда и ни при каких условиях нельзя себе представить троп (например, метафору) развернутым в две реплики диалога, т. е. оба смысла разделенными между двумя разными голосами. Поэтому-то двусмысленность (или многосмысленность) символа никогда не влечет за собой двуакцентности его. Напротив, поэтическая двусмысленность доверяет одному голосу и одной акцентной системе», в совр. изд.: [29, т. 3, с. 78–82].

⁷ О диалогичности речи Голядкина, героя «Двойника», Бахтин писал в «Проблемах поэтики Достоевского» (ППД) [29, т. 6, с. 235–246].

⁸ Частично цитируется следующее предложение: «Порождая из себя прозаические романские диалоги, подлинная двуголосость не исчерпывает себя в них и остается в слове, в языке, как неиссякаемый источник диалогичности, ибо внутренняя диалогичность слова есть необходимый спутник расслоения языка, следствие его перенаселенности разноречивыми интенциями», в совр. изд.: [29, т. 3, с. 84].

⁹ ДС — принятая у Гоготиливили аббревиатура бахтинского термина «двуголосое слово».

¹⁰ Бахтин приводит этот пример в книге «Франсуа Рабле в истории реализма» (1940): «На знаменитых керченских тер<р>акотах есть между прочим своеобразные фигуры б е р е м е н н ы х с т а р у х, безобразная старость и беременность которых гротескно подчеркнуты. Беременные старухи при этом с м е ю т с я. Это — очень характерный и выразительный гротеск. Он амбивалентен; это — беременная смерть, рождающая смерть» [29, т. 4 (1), с. 32].

¹¹ В «Марксизме и философии языка» в качестве примера «особой модификации *предвосхищенной и рассеянной* чужой речи, *запрятанной* в авторском контексте и как бы прорывающейся в действительном прямом высказывании героя» приводится цитата из повести Достоевского «Скверный анекдот», где, в частности, читаем: «Эти три мужа были все трое в генеральских чинах. Сидели они вокруг маленького столи-

ка, каждый в *прекрасном* мягком кресле, и между разговором тихо и *комфортно* потягивали шампанское». Ср. там же авторский комментарий к выделенным словам: «Каждый из этих пошлых, бледных, ничего не говорящих эпитетов является ареной встречи и борьбы двух интонаций, двух точек зрения, двух речей!» [30, с. 462–463].

¹² Далее следуют фрагментарные цитаты (с их параллельным истолкованием) из статьи «Проблема речевых жанров» (1953), конкретные страницы указаны по книге: *Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979. Для современного издания эту работу подготовил Гоготишвили, см.: [29, т. 5, с. 159–286, 535–590]. В преамбуле к комментариям она подчеркивала, что это практически единственная статья Бахтина, написанная «непосредственно изнутри лингвистики с соблюдением терминологических норм и риторических приемов, характерных для того времени». Ориентация на читателя-лингвиста придавала тексту «облегченность» изложения и в то же время смысловую многослойность и непрозрачность: «специфические бахтинские темы чужого слова, непрямого говорения, диалогических отношений и др. здесь фактически лишь констатированы и локализованы в общей схеме лингвистических дисциплин, но не развиты в полной мере» [29, т. 5, с. 537].

¹³ Ср. у Бахтина: «Одним из средств выражения эмоционально оценивающего отношения говорящего к предмету своей речи является экспрессивная интонация, отчетливо звучащая в устном исполнении. Экспрессивная интонация — конститутивный признак высказывания», в совр. изд.: [29, т. 5, с. 189].

¹⁴ Частично цитируется следующее положение Бахтина: «Выбирая слова, мы исходим из замышляемого целого нашего высказывания, а это замышляемое и создаваемое нами целое всегда экспрессивно, и оно-то и излучает свою экспрессию (точнее, нашу экспрессию) на каждое выбираемое нами слово, так сказать, заражает его экспрессией целого. Выбираем же мы слово по его значению, которое само по себе не экспрессивно, но может отвечать или не отвечать нашим экспрессивным целям в связи с другими словами, т. е. в связи с целым нашего высказывания», в совр. изд.: [29, т. 5, с. 190].

¹⁵ Один из самых любопытных сюжетов «предикативного» периода связан с изменением точки зрения Гоготишвили на отношение Лосева к проблеме предикативности. Сначала она пишет «Лосевскую концепцию предикативности» (1999), полемически направленную против сложившихся оценок его «философии имени», прежде всего, на наш взгляд, против трактовки Ю.С. Степанова (подробнее см.: [22]). В скором времени появляется *заготовка* статьи «об антиномиях» (25.06.2000), заду-

манная как детальное сопоставление предикативности у Вяч. Иванова и Лосева: как и в наброске «ИвБах», сюда вклиниваются большие цитаты из статьи «Между именем и предикатом...». Однако в отличие от последнего черногового материала, в этих записях Гоготишвили честно признается сама себе, что в диалектике Лосева «*суть предикативности остается неясной*». Здесь же намечается сближение позиций Лосева и Г. Фреге, основателя аналитической философии, логика и математика. Оба они, согласно Гоготишвили, поддерживали «парадоксальную лишь на первый взгляд тенденцию логики к размыванию жесткой границы между субъектом и предикатом». Статья «об антиномиях» осталась незавершенной.

¹⁶ Частично цитируется утверждение Бахтина: «Каждое высказывание прежде всего нужно рассматривать как *ответ* на предшествующие высказывания данной сферы (слово “ответ” мы понимаем здесь в самом широком смысле): оно их опровергает, подтверждает, дополняет, опирается на них, предполагает их известными, как-то считается с ними», в совр. изд.: [29, т. 5, с. 195–196].

¹⁷ Гоготишвили резюмирует следующее бахтинское размышление: «...очень часто экспрессия нашего высказывания определяется не только — а иной раз и не столько — предметно-смысловым содержанием этого высказывания, но и чужими высказываниями на ту же тему, на которые мы отвечаем, с которыми мы полемизируем; ими определяется и подчеркивание отдельных моментов, и повторения, и выбор более резких (или, напротив, более мягких) выражений, и вызывающий (или, напротив, уступчивый) тон и т. п. Экспрессия высказывания никогда не может быть понятна и объяснена до конца при учете лишь одного предметно-смыслового содержания его. Экспрессия высказывания всегда в большей или меньшей степени *отвечает*, т. е. выражает отношение говорящего к чужим высказываниям, а не только его отношение к предмету своего высказывания», в совр. изд.: [29, т. 5, с. 196].

Список литературы

Исследования

1. Автономова Н.С. Открытая структура: Якобсон — Бахтин — Лотман — Гаспаров. М.: РОССПЭН, 2009. 503 с.
2. Бёрд Р. Символизм после символизма. СПб.: Нестор-История, 2022. 320 с.

3. *Бочаров С.Г.* Событие бытия. М.М. Бахтин и мы в дни его столетия // *Бочаров С.Г.* Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 503–520.
4. *Вестбрук Ф.* Дионис и дионисийская трагедия: Вячеслав Иванов. Филологические и философские идеи о дионисийстве. München: Otto Sagner, 2009. 312 с.
5. *Грабар М.* Михаил Бахтин и Вячеслав Иванов: литературоведческий диалог или взаимное непонимание? // *Vjačeslav Ivanov: russischer Dichter — europäischer Kulturphilosoph. Beiträge des IV Internationalen Vjačeslav Ivanov-Symposiums (Heidelberg, 4–10 September 1989)* / Hrsg. von Wilfried Potthoff. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1993. S. 204–209.
6. *Исупов К.* Символизм и герменевтика. Siedlce: Inst. filologii polskiej i lingwistyki stosowanej UPH, 2012. 98 с. (Opuscula slavica sedlcensia)
7. *Йованович М.* Вячеслав Иванов и Бахтин // *Vjačeslav Ivanov: russischer Dichter — europäischer Kulturphilosoph. Beiträge des IV Internationalen Vjačeslav Ivanov-Symposiums (Heidelberg, 4–10 September 1989)* / Hrsg. von Wilfried Potthoff. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1993. S. 223–239.
8. *Компелев Н.В.* К проблеме диалогического персонажа: М.М. Бахтин и Вяч. Иванов // *Культура и память: Третий международный симпозиум, посвященный Вячеславу Иванову: в 2 т.* Firenze: La Nuova Italia, 1988. Т. 2. С. 93–103.
9. *Ланда К.* Категория «проникновения» у Вяч. Иванова и Данте: опыт духовного восхождения // *Соловьевские исследования.* 2023. № 1 (77). С. 152–173.
10. *Магомедова Д.М.* Полифония // *Бахтинский тезаурус: материалы и исследования: сб. статей / под ред. Н.Д. Тамарченко.* М.: РГГУ, 1997. С. 175–176.
11. *Махлин В.А.* «Ты еси»: Достоевский между Вяч. Ивановым и М.М. Бахтиным // *Вяч. Иванов: pro et contra, антология: в 2 т. / сост. К.Г. Исупов, А.Б. Шишкин.* СПб.: ЦСО, 2016. Т. 2. С. 50–76, 764–770.
12. *Николаев Н.И.* Вяч. Иванов и круг Бахтина // *Вячеслав Иванов — Петербург — мировая культура. Материалы международной научной конференции 9–11 сентября 2002 г.* Томск; М.: Водолей, 2003. С. 286–294.
13. *Плюханова М.Б.* Труды Вяч. Иванова о Достоевском: эволюция основного мифа // *Вячеслав Иванов. Достоевский. Трагедия — Миф — Мистика / отв. ред. А.Б. Шишкин и О.Л. Фетисенко; пер. с*

- нем. Дим.Вяч. Иванов, М.Ю. Коренева. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2021. С. 282–301.
14. *Садаёси И.* Иванов — Пумпянский — Бахтин // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 2000. № 3/4. С. 4–16.
15. *Силард Л.* Герметизм и герменевтика. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2002. 328 с.
16. *Тамарченко Н.Д.* «Эстетика словесного творчества» М.М. Бахтина и русская философско-филологическая традиция. М.: Изд-во Кулагиной, 2011. 400 с.
17. *Тахо-Годи А.А.* Лосев. М: Молодая гвардия, 2007. 534 с.
18. *Тахо-Годи Е.А.* «Поэтика порога» у М.М. Бахтина // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1997. № 1. С. 61–69.
19. *Титаренко С.Д.* «Фауст нашего века»: Мифопоэтика Вячеслава Иванова. СПб.: ИД «Петрополис», 2012. 654 с.
20. *Федотова С.В.* «Феноменология говорения» Людмилы Гогтишвили: к истории неизданной книги (по материалам личного архива) // *Studia Litterarum*. 2023. Т. 8, № 4. С. 272–305. <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2023-8-4-272-305>
21. *Федотова С.В.* Лингвофилософские новации русского символизма в интерпретации Л.А. Гогтишвили (Вяч. Иванов и А.Ф. Лосев) // *Studia Litterarum*. 2019. Т. 4, № 2. С. 252–273. <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2019-4-2-252-273>
22. *Федотова С.В.* Символизм Вячеслава Иванова в контексте полемики Л. Гогтишвили с Ю. Степановым // *Europa orientalis*. 2022. № 41. С. 297–313.
23. *Шишкин А.Б.* Вячеслав Иванов и открытие Достоевского в XX веке // Вячеслав Иванов. Достоевский. Трагедия — Миф — Мистика / отв. ред. А.Б. Шишкин и О.Л. Фетисенко; пер. с нем. Дим. Вяч. Иванов, М.Ю. Коренева. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2021. С. 266–281.
24. *Bird R.* Understanding Dostoevsky: A Comparison of Russian Hermeneutic Theories // *Dostoevsky Studies. New Series*. 2001. Vol. V. P. 126–146.
25. *Bronckart J.-P., Bota C.* Bakhtine démasqué: Histoire d'un menteur, d'une escroquerie et d'un délire collectif. Genève: Droz, 2011. 629 p.
26. *Demenchonok E.* Bakhtin's Dialogism and Current Discussions on the Double-Voiced Word and Transculture // *Intercultural Dialogue: In Search of Harmony in Diversity* / ed. by E. Demenchonok. Cambridge: Cambridge Scholars Publ., 2014. P. 81–138.
27. *Szilard L.A.* Karneválemélet: Vjacseszlav Ivanov tól Mihail Bahtyinig. Budapest: Tankönyvkiadó, 1989. 174 p.

Источники

28. Абсолютный миф Алексея Лосева / отв. ред. Л.А. Гоготишвили, А.Т. Казарян // Начала. 1994. № 1. № 2–4.
29. Бахтин М.М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Русские словари, Языки славянских культур, 1997–2012.
30. Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка (Основные проблемы социологического метода в науке о языке) // Бахтин (под редакцией). М.: Лабиринт, 2000. С. 350–486.
31. Гоготишвили Л.А. Двуголосие в соотношении с монологизмом и полифонией // Бахтинский сборник / отв. ред. и сост. В.Л. Махлин. М.: Языки славянской культуры, 2004. Вып. 5. С. 338–410.
32. Гоготишвили Л.А. Лестница Иакова: архитектура лингвофилософского пространства / сост., вступ. статья и примеч. И.Н. Фридман; отв. ред. С.В. Федотова. М.: Издат. Дом ЯСК, 2021. 616 с.
33. Гоготишвили Л.А. Лингвистические пролегомены к теме «Лосев и Бахтин» // Симпозион: к 90-летию со дня рождения А.А. Тахо-Годи / отв. ред. и сост. Е.А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2013. С. 221–232.
34. Гоготишвили Л.А. Лингвистический аспект трех версий имяславия // Лосев А.Ф. Имя. Избранные работы, переводы, беседы, исследования, архивные материалы. СПб.: Алетейя, 1997. С. 580–614.
35. Гоготишвили Л.А. Лосевская концепция предикативности // Лосев А.Ф. Личность и Абсолют. М.: Мысль, 1999. С. 684–701.
36. Гоготишвили Л.А. Непрямое говорение. М.: Языки славянских культур, 2006. 632 с.
37. Гоготишвили Л.А. Рецепция символизма в гуманитарных науках (лингвофилософский аспект) // Литературоведение как литература: сб. в честь С.Г. Бочарова / отв. ред. И.Л. Попова. М.: Языки славянской культуры, Прогресс-традиция, 2004. С. 148–175.
38. Зильберман Д.Б. Генезис значения в философии индуизма / пер. Е. Гурко. М.: «Эдиториал УРСС», 1998. 448 с.
39. Иванов В.И. Дионис и прадионисийство // Символ. 2015. № 65. 478 с.
40. Иванов В.И. Собр. соч.: в 4 т. / под ред. Д.В. Иванова и О. Дешарт. Брюссель: Foyer oriental chrétien, 1971–1987.
41. Иванов В.И. Эллинская религия страдающего бога // Символ. 2014. № 64. 223 с.
42. Иванов Вяч. И. По Звездам. Опыты философские, эстетические и критические. Статьи и афоризмы: в 2 кн. / отв. ред. К.А. Кумпан. СПб.: Пушкинский Дом, 2018. Кн. I.: Тексты. 431 с.

43. М.М. Бахтин как философ / отв. ред. Л.А. Гоготишвили, П.С. Гуревич. М.: Наука, 1992. 251 с.
44. *Мандельштам О.Э.* Полн. собр. соч. и писем: в 3 т. / сост. А.Г. Мец, науч. ред. Н.Г. Захаренко. М.: Прогресс-Плеяда, 2009–2011.
45. Переписка с Вячеславом Ивановым (1903–1923) / предисл. и публ. С.С. Гречишкина, Н.В. Котрелева и А.В. Лаврова // Литературное наследство. М.: Наука, 1976. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 428–512.

References

1. Avtonomova, N.S. *Otkrytaia struktura: Iakobson — Bakhtin — Lotman — Gasparov* [Open Structure: Yakobson — Bakhtin — Lotman — Gasparov]. Moscow, ROSSPEN Publ., 2009. 503 p. (In Russ.)
2. Berd, R. *Simvolizm posle simvolizma* [Symbolism after Symbolism]. St. Petersburg, Nestor-Istoriia Publ., 2022. 320 p. (In Russ.)
3. Bocharov, S.G. “Sobytie bytiia. M.M. Bakhtin i my v dni ego stoletiiia” [“The Event of Being. M.M. Bakhtin and we in the Days of his Century”]. Bocharov, S.G. *Siuzhety russkoi literatury* [Plots of Russian Literature]. Moscow, Iazyki russkoi kul'tury Publ., 1999, pp. 503–520. (In Russ.)
4. Vestbruk, F. *Dionis i dionisiiskaia tragediia: Viacheslav Ivanov. Filologicheskie i filosofskie idei o dionisiistve* [Dionysus and the Dionysian Tragedy: Vyacheslav Ivanov. Philological and Philosophical Ideas about Dionysianism]. München, Otto Sagner, 2009. 312 p. (In Russ.)
5. Grabar, M. “Mikhail Bakhtin i Viacheslav Ivanov: literaturovedcheskii dialog ili vzaimnoe neponimanie?” [“Mikhail Bakhtin and Vyacheslav Ivanov: Literary Dialogue or Mutual Misunderstanding?”]. Potthoff, Wilfried, editor. *Vjačeslav Ivanov: russischer Dichter — europäischer Kulturphilosoph. Beiträge des IV Internationalen Vjačeslav Ivanov-Symposiums (Heidelberg, 4–10 September 1989)*. Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter, 1993, pp. 204–209. (In Russ.)
6. Isupov, K. *Simvolizm i germenevtika* [Symbolism and Hermeneutics]. Siedlce, Inst. filologii polskiej i lingwistyki stosowanej, 2012. 98 p. (Opuscula slavica sedlcensia) (In Russ.)
7. Iovanovich, M. “Viacheslav Ivanov i Bakhtin” [“Vyacheslav Ivanov and Bakhtin”]. Potthoff, Wilfried, editor. *Vjačeslav Ivanov: russischer Dichter — europäischer Kulturphilosoph. Beiträge des IV Internationalen Vjačeslav Ivanov-Symposiums (Heidelberg, 4–10 September 1989)*. Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter, 1993, S. 223–239. (In Russ.)

8. Kotrelev, N.V. "K probleme dialogicheskogo personazha: M.M. Bakhtin i Viach. Ivanov" ["On the Problem of a Dialogical Character: M.M. Bakhtin and Vyach. Ivanov"]. *Kul'tura i pamiat': Tretii mezhdunarodnyi simpozium, posviashchennyi Vyacheslavu Ivanovu: v 2 t.* [Culture and Memory: The Third International Symposium Dedicated to Vyacheslav Ivanov: in 2 vols.], vol. 2. Firenze, La Nuova Italia, 1988, pp. 93–103. (In Russ.)
9. Landa, K. "Kategoriia 'proniknoveniia' u Viach. Ivanova i Dante: opyt dukhovnogo voskhozhdeniia" ["The Category of "Penetration" in Vach. Ivanov and Dante: the Experience of Spiritual Ascent"]. *Solov'evskie issledovaniia*, no. 1 (77), 2023, pp. 152–173. (In Russ.)
10. Magomedova, D.M. "Polifoniia" ["Polyphony"]. Tamarchenko, N.D., editor. *Bakhtinskii tezaurus: materialy i issledovaniia: sbornik statei* [Bakhtin Thesaurus: Materials and Research: Collection of Articles]. Moscow, Russian State University for the Humanities Publ., 1997, pp. 175–176. (In Russ.)
11. Mahlin, V.L. "'Ty esi': Dostoevskii mezhdu Viach. Ivanovym i M.M. Bakhtinym" ["'You are': Dostoevsky between Vyach. Ivanov and M.M. Bakhtin"]. *Viach. Ivanov: pro et contra, antologiya: v 2 t.* [Vyach. Ivanov: pro et contra, anthology: in 2 vols.], comp. by K.G. Isupov, A.B. Shishkin, vol. 2. St. Petersburg, TsSO Publ., 2016, pp. 50–76, 764–770. (In Russ.)
12. Nikolaev, N.I. "Viach. Ivanov i krug Bakhtina" ["Vyach. Ivanov and the Bakhtin Circle"]. *Viacheslav Ivanov — Peterburg — mirovaia kul'tura. Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii 9–11 sentiabria 2002 g.* [Vyacheslav Ivanov — St. Petersburg — World Culture. Proceedings of the International Scientific Conference, September 9–11, 2002]. Tomsk, Moscow, Vodolei Publ., 2003, pp. 286–294. (In Russ.)
13. Pliukhanova, M.B. "Trudy Viach. Ivanova o Dostoevskom: evoliutsiia osnovnogo mifa" ["Works of Vyach. Ivanov about Dostoevsky: the Evolution of the Basic Myth"]. Shishkin, A.B., and O.L. Fetisenko, editors. *Viacheslav Ivanov. Dostoevskii. Tragediia — Mif — Mistika* [Vyacheslav Ivanov. Dostoevsky. Tragedy — Myth — Mysticism], trans. from German by Dim.Vyach. Ivanov, M.Yu. Koreneva. St. Petersburg, Izdatel'stvo Pushkinskii Dom Publ., 2021, pp. 282–301. (In Russ.)
14. Sadaesi, I. "Ivanov — Pumpianskii — Bakhtin" ["Ivanov — Pumpyansky — Bakhtin"]. *Dialog. Karnaval. Khronotop*, no. 3/4, 2000, pp. 4–16. (In Russ.)
15. Silard, L. *Germetizm i germenevtika* [Hermeticism and Hermeneutics]. St. Petersburg, Izdatel'stvo Ivana Limbaha Publ., 2002. 328 p. (In Russ.)
16. Tamarchenko, N.D. *"Estetika slovesnogo tvorchestva" M.M. Bakhtina I russkaia filosofsko-filologicheskaiia traditsiia* [M.M. Bakhtin's "Aesthetics

- of Verbal Creativity” and the Russian Philosophical and Philological Tradition*]. Moscow, Izdatel'stvo Kulaginoi Publ., 2011. 400 p. (In Russ.)
17. Takho-Godi, A.A. *Losev* [Losev]. Moscow, Molodaia gvardiia Publ., 2007. 534 p. (In Russ.)
18. Takho-Godi, E.A. “Poetika poroga’ u M.M. Bakhtina” [“The Poetics of the Threshold” by M.M. Bakhtin]. *Dialog. Karnaval. Khronotop*, no. 1, 1997, pp. 61–69. (In Russ.)
19. Titarenko, S.D. “Faust nashego veka”: *Mifopoetika Viacheslava Ivanova* [“Faust of Our Century”: *Vyacheslav Ivanov's Mythopoeitics*]. St. Petersburg, Izdatel'skii dom “Petropolis” Publ., 2012. 654 p. (In Russ.)
20. Fedotova, S.V. “Fenomenologiiia govorenniia’ Liudmily Gogotishvili: k istorii neizdannoi knigi (po materialam lichnogo arkhiva)” [“The Phenomenology of Speaking” by Lyudmila Gogotishvili: towards the History of an Unpublished Book (based on the Materials of the Personal Archive)”. *Studia Litterarum*, vol. 8, no. 4, 2023, pp. 272–305. <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2023-8-4-272-305> (In Russ.)
21. Fedotova, S.V. “Lingvofilosofskie novatsii russkogo simvolizma v interpretatsii L.A. Gogotishvili (Viach. Ivanov i A.F. Losev)” [“Linguo-philosophical Innovations of Russian Symbolism in the Interpretation of L.A. Gogotishvili (Viach. Ivanov and A.F. Losev)”. *Studia Litterarum*, vol. 4, no. 2, 2019, pp. 252–273. <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2019-4-2-252-273> (In Russ.)
22. Fedotova, S.V. “Simvolizm Viacheslava Ivanova v kontekste polemiki L. Gogotishvili s Iu. Stepanovym” [“Symbolism of Vyacheslav Ivanov in the Context of L. Gogotishvili's Polemic with Yu. Stepanov”. *Europa orientalis*, no. 41, 2022, pp. 297–313. (In Russ.)
23. Shishkin, A.B. “Viacheslav Ivanov i otkrytie Dostoevskogo v XX veke” [“Vyacheslav Ivanov and the Discovery of Dostoevsky in the 20th Century”]. Shishkin, A.B., and O.L. Fetisenko, editors. *Viacheslav Ivanov. Dostoevskii. Tragediia — Mif — Mistika* [Vyacheslav Ivanov. Dostoevsky. Tragedy — Myth — Mysticism], transl. from Germ. by Dim. Vyach. Ivanov, M.Yu. Koreneva. St. Petersburg, Izdatel'stvo Pushkinskii Dom Publ., 2021, pp. 266–281. (In Russ.)
24. Bird, R. “Understanding Dostoevsky: A Comparison of Russian Hermeneutic Theories.” *Dostoevsky Studies. New Series*, vol. V, 2001, pp. 126–146. (In English)
25. Bronckart, J.-P., Bota, C. *Bakhtine démasqué: Histoire d'un menteur, d'une escroquerie et d'un délire collectif*. Genève, Droz, 2011. 629 p. (In French)
26. Demenchonok, E. “Bakhtin's Dialogism and Current Discussions on the Double-Voiced Word and Transculture.” Demenchonok, E., editor. *In-*

tercultural Dialogue: In Search of Harmony in Diversity. Cambridge, Cambridge Scholars Publ., 2014, pp. 81–138. (In English)

27. Szilard, L.A. *Karnevélelmélet: Vjacseszlav Ivanovtól Mihail Bahtyinig*. Budapest, Tankönyvkiadó, 1989. 174 p. (In Hungarian)